СООБЩЕНИЯ ГАИМК

1932

№ 1—2

СОДЕРЖАНИЕ: Против правого оппортунизма в науке ■ **С. Н. Быковский** — О предмете истории материальной культуры ■ **И. И. Мещанинов** — К вопросу о применении лингвистического материала при исследовании вещественных памятников ■ **А. В. Шмидт** — Об использовании этнографических материалов в работах по истории материального производства ■ **А. М. Золотарев** — Кардинал Шмидт и Отмар Шпанн ■ **А. Н. Бернштам** — Идеализм в этнографии ■ **К. В. Тревер** — Олень с тоской во взоре и меланхоличная свинья ■ **И. И. Смирнов** — Возможна ли „марксистская история материальной культуры"? ■ **А. В. Арциховский, С. В. Киселев, А. П. Смирнов** — Возникновение, развитие и исчезновение „марксистской археологии" ■ **В. И. Равдоникас** — На новый этап ■ **Г. В. Белов** — Работы в Херсонесе в 1931 г. ■ **А. А. Аджан, Л. Т. Гюзальян и Б. Б. Пиотровский** — Циклопические крепости Закавказья ■ Библиография ■ Хроника ■ Официальный отдел ■ Письмо в редакцию.

2 р. 50 к.

ИЗВЕСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Том I

Ц. 10 руб.

Содержание: Орешников, К нумизматике преемников Аспурга; Ильин, Монеты великого княжества Черниговского конца XIV в.; Ильин, Монетный двор в Ярославле; Латышев, Заметки по греческой эпиграфике; Бартольд, Персидское арк, „крепость", „цитадель"; Протасов, Кашинские памятники; Крюгер, Надгробие Леокса, сына Молпагора; Марр, Фрагмент халдской надписи из Алашкерта; Тураев, Египетские рельефы с изображениями погребальных процессий Музея Изящных Искусств; Гесс, Композиция человеческой фигуры в египетском рельефе и рисунке; Ольденбург, Организация археологического изучения Индии; Шилейко, Заметки по семитической эпиграфике; Орбели, О двух терминах в надписях Ани; Тройницкий, Рубль Ланского; Рончевский, О древне-римских плафонах; Вальдгауер, Килик с надписью Ἐπίδρομος καλός в Эрмитаже; Тураев, Папирус Прахова; Боровка, Женские головные уборы Чертомлыцкого кургана; Фармаковский, Серебряная чаша Новороссийского музея; Романов, О времени построения звонницы Успенского собора в Звенигороде; Орешников, Этюды по нумизматике Черноморского побережья; Вальдгауер, Статуарный тип Гипноса; Струве, Сенаар и Египет; Тройницкий, Баллотировальник Екатерининского времени; Тревер, Бронзовая ножка канделябра из Нахчавана; Васильев, Готы в Крыму. I; Тройницкий, О гербе Смоленском; Шилейко, Документы из Гюль-тепе; Гамалов-Чураев, Монеты острова Кимола; Ильин, Две монеты князя Андрея; Шкорпил, Два надгробия, найденные в Керчи; Гамалов-Чураев, Золотая монета Уроша II Милутина; Орбели, Описание Версаля в армянской записи 1683 г.

Том II

Ц. 5 руб.

Содержание: Бартольд, Отчет о командировке в Туркестан; Фармаковский, Горит из кургана Солохи; Струве, К истории патесиата Гишху; Латышев, Заметки по греческой эпиграфике; Латышев, Неизданные Боспорские надписи; Рыдзевская, Холм в Новгороде; Орешников, Этюды по нумизматике Черноморского побережья; Смирнов, О времени появления константинопольской Ксилопорты; Максимова, Одиссей у Кирки по чашам Бостонского музея; Орешников, Олицетворение общины Херсонеса Таврического на монетах; Книпович, Три вазы стиля Вурва в Эрмитаже; Розенберг, Персидская миниатюра конца XVI в.; Бартольд, Монеты Улугбега; Боровка, Бронзовый олень из Ульского аула; Мюллер, Пейзажи Нотбека; Вальдгауер, Афродита Урания и Афродита Пандемос; Кубе, Антуан Бенуа; Васильев, Описание византийских гирь и эксагиев; Бакланов, Эволюция архитектурных форм в русском провинциальном церковном зодчестве; Романов, Два антиминса XVII в. Ферапонтова Белозерского м-ря; Тревер, Краснофигурный лекиф с изображением Артемиды; Миллер, Изображения собаки в древностях Кавказа; Марр, Яфетические названия красок и плодов в греческом; Марр, Каппадокийцы и их двойники; Зограф, Статуарные изображения Девы в Херсонесе по данным нумизматики; Бартольд, Восточно-иранский вопрос.

Том III

Ц. 5 руб.

Содержание: Золотарев, Работы этнологической экспедиции в Тверск. и Рыбинск. губ.; Тройницкий, Исаак Брукнер и его универсальные солнечные часы; Алексеев, Судьбы китайской археологии; Пиотровский, Панафинейская амфора Елисаветинского кургана; Гесс, Ушебти и саркофаги к ним Эрмитажа и Музея Изящных искусств; Фриде, Русские деревянные укрепления по древним литературным источникам; Шилейко, Молитва ночным богам в собрании Лихачева; Лихачев, Датированные печати Византии; Ернштедт, Две терракотовые архаические маски Эрмитажа; Флиттнер, Египетские цилиндры собрания Голенищева; Марр, Книжная легенда об основании Киева на Руси и Куара в Армении; Марр, Заметки по яфетическим клинописям; Фасмер, Новые приобретения Эрмитажа в области куфической нумизматики; Токарский, Об основной мере длины в древней Армении; Измайлова, Описание византийских печатей, хранящихся в Академии.

Том IV

Ц. 5 руб.

Содержание: Миллер, Краткий отчет о работах Сев.-Кавказской экспедиции 1923 г. Мещанинов, Географические названия верховьев Аракса по халдским надписям; Миллер, Об армянских надписях в Болгарах и Казани; Крюгер, Эпиграфические мелочи; Миллер, Новый источник к изучению связи Скифии с Кавказом; Андреев, Деревянная колонна в Матче; Бартольд, Археологические работы в Самарканде летом 1924 г.; Быков, Клад серебряных куфических монет, найденный в Новгороде; Семенов, Новые находки в Ольвии; Зограф, Поправки к нумизматике Тиры; Кубе, Памятник полемической литературы конца царствования Людовика XVI; Дудин, К вопросу о технике изразцовых мозаик Средней Азии; Алексеев, Вид китайской древней книги; Романов, Псков, Новгород и Москва в их культурно-художественных взаимоотношениях; Фасмер, Клад куфических монет, найденный в Новгороде в 1920 г.; Свирин, К вопросу о еврейско-португальской торевтике XVI в.; Ернштедт, К вопросу о стиле резчика Дексамена; Марр, Сухум и Туапсе; Тревер, Бронзовый водолей Киевского клада; Шилейко, Богазкейские таблетки в собрании Лихачева; Токарский, Предварительный отчет о поездке в Армению.

Том V

Ц. 5 руб.

Содержание: Айналов, Vinciana; Готье, Кто были обитатели верхнего Салтова; Книпович, Ионийская ваза с Таманского полуостр.; Карабинов, „Наместная икона" древнего Киево-Печерского м-ря; Блаватский, Мелосский кратер геометрического стиля Гос. Музея Изящных Искусств; Блаватский, Две чернофигурные аттические вазы Музея Изящных Искусств; Брунов, К вопросу о первоначальном виде древнейшей части Киевской Софии; Мерварт, Музейное дело в Индии; Сиверс, Медальер Беньямин Скот; Васильев, Готы в Крыму; Манцевич, Березанская амфора; Бауер, Древне-русский чекан; Котова, Памятники доисторической культуры эпохи расписной керамики в Моравии; Гирс, Бахрам-Гур и невольница; Зограф, Две группы херсонесских монет с заимствованными типами; Малицкий, К вопросу о датировке „Тверских" врат Александровской слободы; Амиранашвили, О греческой надписи из окрестностей Мцхета; Мещанинов, Орнамент сузских чаш первого стиля; Штейн, Бронзовый браслет с Березани; Прушевская, Две древне-восточные бронзовые статуэтки.

ГРИГОРЬЕВ

СООБЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

1-2

1932

Против правого оппортунизма в науке

Среди некоторой части научных работников в последнее время циркулирует так называемая «теория» производственного риска в научной работе. Терминология этой модной «теории» заимствована из области производства, где на определенных началах в интересах развития производства допущен и практически существует производственный риск. В производстве такой риск, как видно из сказанного, имеет свое основание и значение. Но механическое перенесение опыта производства в область научной, т. е. идеологической, работы совершенно недопустимо. Научная, исследовательская работа имеет по сравнению с производством свой спецификум. Смычка и союз науки с трудом отнюдь не уничтожает этого спецификума. Спецификум научно-исследовательской работы, как и всякой иной научной работы, заключается в том, что эта работа — идеологическая. Поэтому «теория» производственного риска в научной работе неизбежно превращается в «теорию» идеологического риска и в конечном счете ведет к капитуляции перед буржуазной наукой.

В чем существо и значение этой «теории»? Партия, как авангард рабочего класса, предъявила к науке вполне определенные требования: изжить отставание науки от практики, поставить науку на службу социалистическому строительству, сомкнуть науку с трудом. Соответствующие директивы и указания были даны т. Сталиным на конференции аграрников-марксистов, и в решении ЦК ВКП(б) о задачах Комакадемии, и в шести условиях т. Сталина, и в письме т. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» по поводу статьи Слуцкого. Эти директивы и указания требуют от научных работников четкого осознания невозможности вести научную работу на какой-либо иной методологической основе, кроме как на основе марксистско-ленинской методологии. Без овладения марксистско-ленинской методологией невозможна подлинно научная работа, действительное служение интересам пролетарской социалистической революции. Но овладение марксистско-ленинской методологией имеет свои трудности. Революционную теорию нельзя просто «заучить», ею надо овладеть. Овладение революционной теорией требует преодоления и полного отказа от буржуазных и мелкобуржуазных навыков и традиций, воспринятых из старой, буржуазной школы, требует безусловной общественной актив-

СОДЕРЖАНИЕ

Против правого оппортунизма в науке.
С. Н. БЫКОВСКИЙ. — О предмете истории материальной культуры.
И. И. МЕЩАНИНОВ. — К вопросу о применении лингвистического материала при исследовании вещественных памятников.
А. В. ШМИДТ. — Об использовании этнографических материалов в работах по истории материального производства.
А. М. ЗОЛОТАРЕВ. — Кардинал Шмидт и Отмар Шпанн.
А. Н. БЕРНШТАМ. Идеализм в этнографии.
К. В. ТРЕВЕР. — Олень с тоской во взоре и меланхолическая свинья.
И. И. СМИРНОВ. — Возможна ли „марксистская история материальной культуры"?
А. В. АРЦИХОВСКИЙ, С. В. КИСЕЛЕВ, А. П. СМИРНОВ. — Возникновение, развитие и исчезновение „марксистской археологии"
В. И. РАВДОНИКАС. — На новый этап.
Г. Д. БЕЛОВ. — Работы в Херсонесе в 1931 г.
А. А. АДЖАН, Л. Т. ГЮЗАЛЬЯН и Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ. — Циклопические крепости Закавказья.
БИБЛИОГРАФИЯ.
ХРОНИКА.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

INHALT

S. BYKOVSKY. — Über den Gegenstand der Geschichte der Materiellen Kultur.
J. MEŠČANINOV. — Anwendung des sprachlichen Materials bei Denkmalforschung.
A. SCHMIDT. — Anwendung des ethnographischen Materials in der Erforschung der Geschichte der materiellen Produktion.
A. ZOLOTAREV. — P. W. Schmidt und O. Spann (über Klassenwurzeln der kultur-historischen Schule).
A. BERNSTAMM. — Idealismus in Ethnographie
C. TREVER. — Ein Hirsch mit sehnsüchtigem Blicke und ein melancholisches Schwein.
J. SMIRNOV. — Ist eine marxistische Geschichte der materiellen Kultur möglich?
A. ARZICHOVSKY, S. KISSELEV und A. SMIRNOV. — Entstehung, Entwickelung und Niedergang der „marxistischen Archäologie".
W. RAUDONICAS. — Auf neuen Wegen.
G. BELOV. — Ausgrabungen in Chersonnes.
A. ADJAN, L. GUZALIAN und B. PIOTROVSKY. — Die zyklopische Burgen Transkaukasiens.
BIBLIOGRAPHIE.
CHRONIK.
OFFIZIELLER TEIL.
BRIEF AN DIE REDAKTION.

ности. Овладение революционной теорией требует активной практической борьбы за социалистическое строительство. Навыки и традиции прошлого, мелкобуржуазная природа тех научных работников, которые выросли и воспитались в дореволюционных условиях, ведут в ряде случаев ко всякого рода шатаниям и колебаниям между капиталистическим и социалистическим мирами. С одной стороны, убедительны и успехи социалистического строительства, слишком очевидные, чтобы их не заметить и не убедиться, с другой стороны... как порвать с традициями буржуазного мира, особенно буржуазной науки. В результате таких колебаний является практическая работа в области научного исследования на двух различных и непримиримых между собою методологических основах.

«Можно ли в продолжение более или менее долгого периода времени базировать советскую власть и социалистическое строительство на двух разных основах: на основе самой крупной и объединенной социалистической промышленности и на основе самого раздробленного и отсталого мелкотоварного крестьянства? Нет, нельзя. Это когда-либо должно кончиться полным развалом всего народного хозяйства... Стало быть, вопрос стоит так: либо один путь, либо другой, либо назад — к капитализму, либо вперед — к социализму. Никакого третьего пути нет и не может быть. Теория «равновесия» есть попытка наметить третий путь. И именно потому, что она рассчитана на третий (несуществующий) путь, она является утопичной, антимарксистской», разъяснял т. Сталин на конференции аграрников-марксистов.

Эти разъяснения т. Сталина целиком приложимы и к области науки. Базировать советскую науку на двух разных основах невозможно. Надо выбирать один из путей: назад к капитализму, либо вперед — к социализму. Третьего пути нет. «Теория» производственного риска пытается наметить несуществующий, утопический третий путь, представляя собою типичное выражение теории «равновесия», о которой говорит т. Сталин. «Теория» производственного риска практически пытается узаконить упомянутое утопическое примирение двух непримиримых методологических основ, пытается оправдать и освятить систематические уступки буржуазной науке, буржуазной методологии. Формально под прикрытием неизбежности ошибок при построении новых концепций, при разработке новых сюжетов, при вовлечении в научный оборот новых материалов и источников протаскивается идея антимарксистских, антиленинских установок в науке. Производственный риск в производстве оправдывается необходимостью технического эксперимента, необходимостью выработки новых, неизвестных еще технических приемов, которые должны максимально способствовать скорейшему развитию производства. В области научной, исследовательской, т. е. идеологической, работы методология известна: она дана трудами основоположников марксизма-ленинизма, экспериментировать, кустарничать здесь нечего. Конечно, и в области научных исследований ошибки вероятны и возможны, но это обстоятельство вовсе еще не оправдывает эти ошибки. Вопрос заключается в том, каковы эти ошибки, чем они вызваны, на какую из них и как должна реагировать советская общественность. Безошибочный критерий дает в этом направлении в своем выступлении т. Постышев. Надо различать ошибки случайные и невольно допущенные от системы ошибочных взглядов. Отдельные ошибки случайного происхождения подлежат критике и исправлению. Системы ошибочных взглядов подлежат не только критике и разоблачению, но заслуживают самого сурового осуждения. Именно по отношению к системе ошибочных взглядов должна проявляться та суровая большевистская непримиримость, которой учил нас Ленин и образец которой показал в своем письме по поводу статьи Слуцкого т. Сталин. В своих шести условиях т. Сталин между прочим указывает на полную необходимость товарищеского и чуткого отношения к тем из старых специалистов, которые искренно желают служить делу пролетарской революции, делу социалистического строительства. Это условие непосредственно касается инженерно-технических работников. Но, само собою разумеется, оно распространяется и на научных работников, занятых исследовательской и педагогической работой. Однако ни в какой степени нельзя забывать об упомянутом выше спецификуме научной работы как работы идеологической. К идеологическому работнику должны быть предъявлены соответствующие этому спецификуму научной работы требования. В научной работе мало простой честности и исполнительности, мало субъективной искренней готовности работать для дела социалистического строительства,— надо на деле показать свою марксистско-ленинскую методологическую грамотность, фактическое овладение марксистско-ленинской методологией. Только такой научный работник, который всей своей работой показывает свою способность к овладению марксистско-ленинским учением, обнаруживает свой несомненный рост в этом направлении, только такой научный работник может претендовать на то, чтобы быть или стать полноценным идеоло-

гическим работником строящегося социалистического общества. Система закоренелых ошибочных взглядов исключает соответствующих работников из числа тех, на кого распространяется выше условие т. Сталина.

К числу тех, на кого названное условие т. Сталина не распространяется и не должно распространяться, относятся и нытики, заранее оправдывающиеся своей якобы неспособностью к усвоению основ марксистско-ленинской методологии. Практика показывает, что в основании таких рассуждений о неспособности, об «особом» устройстве мозгов лежит на деле нежелание изучать эти основы, устряловская неискренность, нечестность, недобросовестность, попытка отделаться декларациями без какого бы то ни было поворота на деле.

Нельзя, наконец, не упомянуть о категории «советских» молчальников. Упорное нежелание части научных работников отказаться от системы двух методологических основ и от соединения несоединимого, а вместе с тем боязнь обнаружить свои подлинные взгляды — приводят некоторых научных работников к тактике молчальничества. Годами такие научные работники не дают никакой научной продукции, молчат, оправдывая свое молчание недоработанностью своей темы, отсутствием тех или иных источников и т. п. причинами. Трудно сказать, что хуже и подлее, что заслуживает более сурового осуждения — такое систематическое молчание или упорное повторение систематических ошибок. Едва ли не более отвратительным является молчание. Кто ошибается, как бы ни сурова была критика ошибок, некоторые шансы на исправление и изживание ошибок имеет, шансы на идеологический рост по исправлении ошибок. Кто молчит, тот не имеет и этих шансов и представляет собою добровольный отброс социалистического строительства.

Развернутое социалистическое наступление на всех фронтах нашего строительства требует решительного аналогичного наступления на фронте науки. Без преодоления «теорий» производственного риска в науке, неспособности к овладению марксистско-ленинской методологией, молчальничества — двигаться вперед и достигнуть действительного союза науки и труда мы не можем. Последний год пятилетки, 1932 год, должен быть для науки годом полного и окончательного изживания отрыва теории от практики, годом решительных побед марксистско-ленинской методологии на нашем участке науки.

С. Н. Быковский

О предмете истории материальной культуры

По вопросу о предмете истории материальной культуры и о судьбе доставшейся нам по наследству от буржуазной науки археологии среди наших специалистов, называющих и считающих себя историками материальной культуры, историками-археологами, археологами и т. д., до сих пор все еще наблюдается идейный разброд. Каждый понимает свою специальность по-своему, каждый вкладывает свое содержание в понятия «история материальной культуры» и «археология», по-своему думает о том, что делать с археологической специальностью доставшейся по наследству от прошлого.

Дискуссия по этим вопросам, пока что протекавшая главным образом в форме устных обсуждений этих вопросов преимущественно в стенах Комакадемии в Москве, не только вскрыла отмеченное выше обстоятельство, но уже внесла значительную ясность в обсуждение названных вопросов и позволяет высказаться по ним печатно, отражая точку зрения, претендующую на то, чтобы сплотить вокруг себя большинство.

Можно считать окончательно установленным, что археология в старом понимании себя изжила и сторонников иметь не может. С этим старым пониманием связано антинаучное деление исторических наук по видам источников. Основным признаком специальности археолога являлась работа над вещественными памятниками. Старый археолог — по преимуществу вещевед в полном и дурном смысле этого слова. Он изучал, как правило, не общественные явления, отраженные в вещах, а самые вещи. Если фактически ряд археологов нарушал это общее правило и пытался на деле высказываться об общественных явлениях, то от историка такой археолог отличал себя именно по признаку основного источника изучения — вещи, археологического вещественного памятника. Точно таким же образом историк считал своим основным, чаще всего даже исключительным, источником изучения письменный памятник, документ. Как некоторые археологи отходили от обычного использования для научных исследований одних вещественных источников и иногда прибегали к письменным свидетельствам, так и некоторые историки преодолевали свое пренебрежение к вещественным памятникам и пользовались в своих научных построениях археологическими работами.

Можно, далее, считать твердо установленным, что деление исторических наук по видам источников изучения — антинаучно. Исторический процесс отражался в различных источниках, так сказать, не считаясь с их видом и характером. В ряде случаев те или иные стороны общественных явлений отражаются в источниках тех или иных видов односторонне и крайне неполно, так что только на основании всей совокупности источников всех видов можно получить правильное представление об интересующем исследователя явлении. При этом нельзя заранее сказать, что именно вещественные памятники лучше и полнее всего отражают явления общественной жизни прошлого, или, например, письменные источники и т. д. Таким образом, правильное изучение исторического процесса нельзя поставить на основании только какого-нибудь одного вида источников. Следовательно, классификация исторических наук по видам источников лишена научных оснований. Такое деление целиком соответствовало интересам эксплуататорских классов, например, бур-

жуазного общества, так как обеспечивало больше возможностей одностороннего и искаженного понимания тех или иных общественных явлений, когда это было выгодно эксплуататорским классам.[1] В наших условиях старое, антинаучное деление исторических наук по указанному признаку не может быть терпимо.

Совершенно понятно, что мы не можем согласиться и с существованием такой общественной науки, которая имела бы своей задачей изучение только самих вещей, являющихся не простыми продуктами развития природы, продуктом деятельности стихийных, «слепых» сил природы, а продуктами и результатами деятельности самого человека, притом не как биологической особи, а как общественного человека, т. е. продуктом деятельности общества.

В таком же понимании не может существовать и особой науки истории материальной культуры. Последнее название, относительно новое по сравнению с термином «археология», сплошь и рядом понимается именно в качестве археологии, т. е. термин «материальный» воспринимается часто не в философском смысле, а в физическом или естественно-историческом, как равнозначащий термину «вещественный» или «вещный». В этом смысле часто говорят об истории одежды, истории жилища и т. д., забывая о том, что и одежда, и жилище, как продукты развития деятельности общества, представляют собою не самодовлеющий интерес, а интерес посредственный, только в качестве источников изучения истории самого общества.

Итак, в указанном понимании ни археологии, ни истории материальной культуры как самостоятельных отделов науки существовать не может.

Но не остается ли места для археологии или истории материальной культуры в указанном выше понимании в системе классификации исторических наук в качестве вспомогательных исторических дисциплин? И на этот вопрос приходится отвечать отрицательно, так как понятие вспомогательных дисциплин — относительно. Например, лингвистика с точки зрения специальности историка имеет дело с специфической закономерностью явлений в области языка и в этом смысле, взятая сама по себе, является вполне закономерной, самостоятельной наукой. Палеография с точки зрения специальности историка также является вспомогательной дисциплиной, но явления, наблюдаемые в области палеографии, не могут быть поняты вне связи их с общим ходом развития письма и литературы, а потому войдут в качестве объекта изучения в особую область научного знания в качестве составной части объектов изучения в пределах самостоятельного отдела науки. Точно таким же образом будет обстоять с эпиграфикой, исторической географией и другими так наз. вспомогательными историческими дисциплинами. Узаконить археологию в качестве вспомогательной исторической дисциплины значит узаконить специальность вещеведов, изучающих вещи как таковые, а не с точки зрения отражения в них общественных явлений, т. е. не в качестве исторического источника. Как известно, историки литературы нередко изучали документы, служащие историческим памятником или источником собственно исторического изучения. Это изучение приносило, конечно, свою пользу, но его результаты никогда не могли удовлетворить историка, как такового, так как интересы и специфические запросы последнего не учитывались в таком изучении. Это изучение неизбежно оставалось формалистическим, поскольку оно вообще велось в отрыве от исторической специальности, т. е. при недостаточной осведомленности в области исторических фактов. Таким же точно недостатком, точнее говоря — коренным пороком, отличалось, например, изучение восточных источников, относящихся к истории Восточной Европы, так наз. ориенталистами. Не будучи специалистами в вопросах истории Восточной Европы, ориенталисты, изучавшие упомянутые источники, толковали содержание последних вкривь и вкось, совершенно порою искажая и затемняя содержание исследуемых ими источников. Такого рода изучение письменных памятников, следовательно, являлось односторонним, чисто формалистическим и, конечно, стояло в связи и находилось в тесной зависимости от методологии буржуазных специалистов-исследователей. Поэтому оно в конечном счете вовсе не освобождает историка от специальных исследований тех же памятников вновь, на иной методологической основе и, конечно, в тесной связи с специальностью именно историка. Эти примеры показывают, можно ли выделить изучение источников какого бы то ни было вида в качестве особой специальности. Сказанное дает понять, что сохранение археологии в качестве вспомогательной исторической дисциплины невозможно, так как грозит узаконением оторванного от истории голого вещеведения. Последнему должна быть объявлена решительная борьба.

Но что же остается на месте старой археологии? Какая новая, марксистско-ленинская наука? Не заменяет ли ее история материальной культуры, при том, однако, непременном условии, чтобы термин «материальный» понимать не в физическом или естественно-историческом смысле, а в смысле философском?

Понимая термин «материальный» в философском смысле, предметом истории материальной культуры необходимо будет признать область истории материального производства, как и условия развития последнего. Такой науке по преимуществу придется иметь дело с изучением материального базиса общества на различных ступенях развития, что, конечно, ни в какой мере не исключает, однако, внимания историка материальной культуры к вопросам истории классовой борьбы в классовом обществе, к вопросам надстроечных явлений и т. д. Естественно, все эти вопросы не займут в исследовательской работе историка материальной культуры первого и основного места, но в той мере, в какой в каждом отдельном случае изучения экономического базиса историку материальной культуры необходимо будет считаться с взаимодействием базиса с различными конкретными надстройками, он должен будет принимать их во внимание, так как иначе не избежит механистических ошибок. Мало того, в ряде случаев историку материальной культуры придется судить о тех или иных сторонах базиса по различным идеологическим надстройкам.[1] Такая история материальной культуры, более частным подразделением которой, между прочим, явится и история техники, представляет собой столь же закономерную отраслевую историческую науку, как и история классовой борьбы, история религии, история искусства и т. д. В этом понимании история материальной культуры явится подлинной частью единой исторической науки.

Из сказанного о предмете истории материальной культуры видно, что данный отдел исторической науки не покрывает собою целиком предмета старой археологии. Вещественный памятник и его обработка, в частности и добывание, не могут быть признаны монополистическим достоянием одной только истории материальной культуры. В такой же мере на веще-

[1] Ср. мою статью «О классовых корнях старой археологии», Сообщения ГАИМК, 1931 г., № 9—10, а также мою авторецензию на «Методику исторического исследования», там же, № 11—12.

[1] Подробнее я касаюсь этого вопроса в статье «О роли идеологической надстройки при изучении базиса», Сообщения ГАИМК, 1931 г., № 8.

ственный памятник имеет право претендовать, например, и история религии, и история искусства и т. д. В ряде случаев возможно даже некоторое переплетение интересов названных отделов истории с интересами истории материальной культуры. Вполне понятно, что право и даже необходимость добывания и обработки вещественного памятника должно принадлежать каждой отраслевой исторической науке, а всецело — исторической науке во всем объеме последней. Ни для добывания, ни для обработки вещественных памятников на всем протяжении исторического процесса никакой особой, оторванной от истории, вспомогательной вещеведческой науки существовать в то же время не должно. Напротив, как добывание, так и обработка вещественных памятников должны стать частью исторического исследования самого исторического процесса развития общества. При этом нельзя не принять во внимание особенностей различных исторических эпох, представляющих соответствующие социально-экономические формации общества. Если доклассовое общество особенно представлено вещественными, а не письменными памятниками, то, очевидно, это обстоятельство будет требовать от историка, являющегося специалистом по доклассовому обществу, особого внимания именно к вещественным памятникам, будет требовать от такого историка дополнительной, подсобной проработки по методике исследования вещественных памятников и по методике их добывания. Историк, являющийся специалистом по феодальному обществу, повидимому, должен будет учитывать специфичность своих исторических источников, к числу которых будут принадлежать и вещественные памятники, но в особенности письменные. Капиталистическая эпоха потребует почти исключительного использования письменных источников, характер которых, однако, опять-таки будет отличаться от характера письменных источников феодальной эпохи. Таким образом, очевидно, придется иметь в виду необходимость спецификации методики исторического исследования в соответствии с особенностями исторических эпох (социально-экономических формаций), отражающихся в памятниках каждой эпохи.

Но из сказанного вытекает возможность и даже прямая необходимость деления исторической науки, помимо указанного выше, по формационному признаку. Различие источников различных общественно-экономических формаций в конечном счете обусловливается различиями и особенностями самого исторического процесса, т. е. качественными различиями и особенностями общественно-экономических формаций. Таким образом возникает необходимость в параллельном существовании деления исторической науки по общественно-экономическим формациям. Если первое упомянутое выше деление можно назвать вертикальным, то указанное второе, параллельное деление — горизонтальным. В обоих случаях, однако, надо иметь в виду деление исторической науки на отделы в пределах исследовательской специальности, но, конечно, ни в какой мере нельзя этого деления придерживаться в вопросе об исторической подготовке исследователя. В процессе подготовки исторический процесс должен быть изучен в целом, и это имеет большое принципиальное значение.

При такой классификации исторических наук, при таком делении исторической науки на специальные области места для старой археологии не остается. Ее предмет по частям входит в соответствующие отделы исторической науки, раздробляясь как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Как целый и единый комплекс археология обрекается на уничтожение. История материальной культуры в свою очередь не может являться единственной преемницей старой археологии и в каждом своем отрезке, как и в целом, охватывает только некоторую часть предмета старой археологии.

Само собой разумеется, что в пределах предложенной классификации исторической науки возможна, кроме того, классификация областного или районного характера, на уточнении и обосновании которой здесь останавливаться не место.

Предложенный выше вертикальный разрез исторической науки по характеру общественных отношений, т. е. такие отраслевые науки, как история материальной культуры, история классовой борьбы, история религии и т. д., допускающие еще большее сужение объема предмета исследования (примером может являться история техники в пределах истории материальной культуры, история партии в пределах истории классовой борьбы и т. д.), никаких видимых сомнений вызывать не может. Горизонтальный разрез по социально-экономическим формациям может встретить, однако, существенное возражение в том смысле, что отдельные специалисты, связанные с изучением наиболее древних эпох, как будто отрывают исследователя от современности, заставляя его возиться с одной древностью. Это возражение, как оно ни кажется серьезным, на первый взгляд, не имеет оснований. Во-первых, речь идет в данном случае только об исследовательской специальности, которая не может распространяться на все эпохи без исключения, а не об исторической подготовке исследователя. Во-вторых, что еще более существенно, упомянутый отрыв зависит не от специальности исследователя, т. е. не от материала, над которым он работает, а от подхода к материалу, от целеустремленности историка. Печальным недоразумением является мнение, будто бы занятия древними эпохами знаменуют собою обязательный отрыв от современности. Этот отрыв возможен, и на этом основании покоится упомянутое ошибочное мнение, но такой отрыв вовсе не обязателен. Напротив, целый ряд проблем истории древнейших эпох теснейшим образом связан с актуальнейшими проблемами современности. Такова, например, проблема происхождения классов, частной собственности и т. п. Детальная разработка этих проблем требует обстоятельного знания конкретных фактов из области далекого прошлого. Не говоря об агитационном политическом значении этих проблем, нельзя не указать практического их значения для социалистического строительства. Ряд пережиточных явлений, наблюдаемых до настоящего времени в различных районах нашего Союза, является тормозом в строительстве социализма. Распознание этих явлений и устранение их путем сознательного вмешательства сплошь и рядом требует обстоятельного знания древнейших эпох, к которым восходят наблюдаемые пережиточные явления, т. е. определенной специальности. В политической борьбе с различными реакционными течениями, имевшими место в политической жизни нашего Союза, немалым подспорьем является теоретическая проработка конкретного исторического материала, нередко из очень ранних эпох. Достаточно напомнить о богдановской «теории» организаторов, послужившей базой для различных политических реакционных построений и вошедшей неотъемлемой частью в контрреволюционное троцкистское «учение» о перерождении советского государства. Конкретный материал, опрокидывающий эту «теорию», черпается историком из эпохи раннего этапа феодализма. Таким образом, не материал древнейших эпох отрывает исследователя от современности, а сам исследователь при соответствующей целеустремленности отрывается от современности, поворачивается к ней спиной. В итоге, когда такое явление наблюдается, необходимый исторический материал не ставится на службу социалистическому строительству.

Каждый историк должен твердо усвоить, что исследовательская специальность и историческая подготовка — не одно и то же. Без достаточного, мало того — без основательного знания современности марк-

систско-ленинский анализ явлений прошлого невозможен. Если историческое изучение прошлых эпох позволяет нам правильно понимать явления современности, то столь же верно и обратное: знакомство с современностью позволяет нам лучше и вернее разбираться в вопросах истории прошлого: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки на высшее у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если это высшее уже известно. Буржуазная экономика дает нам ключ к античной и т. д.», говорит К. Маркс.[1] В частности, без знания современности невозможен и классовый анализ работ буржуазных ученых, без трудов которых обойтись будет невозможно. Труды этих буржуазных ученых, без знания современности, постоянно будут грозить скатыванием в буржуазное болото.

Перестраивая историческую науку, ликвидируя подлинно реакционные участки исторического фронта, мы обязаны поставить историческую науку целиком на службу пролетариату, подчинив задачи исторического исследования задачам социалистического строительства. Необходимо твердо помнить каждому исследователю, что пролетарский интерес совпадает с стремлением к объективной истине и только на путях служения этому интересу возможно научное познание объективной истины.

■

[1] Введение к «К критике политической экономии», § 3.

И. И. Мещанинов

О применении лингвистического материала при исследовании вещественных памятников

Новое учение акад. Н. Я. Марра о языке, материалистическая лингвистика, резко отмежевало себя от узкой специализации в изучении отдельно взятых языков. Согласно новому учению, каждый язык представляет собою лишь одно из конкретных оформлений общего процесса развития речи. Потому ни один язык не может быть понят вне широкого охвата всего процесса развития речи. Отсюда неизбежным оказывается построение истории развития языка на основе всего языкового материала, так как только в этом случае выявляется диалектический характер процесса развития речи. Этот ступенчатый, по выражению Н. Я. Марра, ход развития речи потребовал, таким образом, реального своего обоснования на языковых фактах вне всяких искусственно воздвигнутых буржуазной лингвистикой рамок, по традиции отделяющих одну языковую «семью», в действительности не существующую, от другой, тоже мифической.

Одновременно с новым подходом к языку рухнула расовая теория в учении о языке, вместе с нею и миграционная. Но более того, рухнула сама изоляция явлений культуры, поставив в весьма шаткое положение не только лингвиста старой школы, но и старого вещеведа. Границы исследовательской работы расширились до грандиозных размеров. Если «русист» не может более заниматься своими исследованиями без знания вообще славянских языков, то и сам славист вовсе не может ограничиться пределами одной только славянской речи; он должен быть, равным образом, основательно осведомлен хотя бы в главных моментах фактического материала так наз. индо-европейских языков. Да и одних ли индо-европейских языков? Ведь и они тоже отнюдь не представляют собою обособленного расового порождения, и такое их понимание не свойственно представителю нового в лингвистике течения. Индо-европейские языки, в их условной сейчас группировке, представляют собою вовсе не отдельную «пирамиду», опирающуюся только на свой мнимый праязык. Наоборот, они представляют стадиальный разрез общего процесса языкового развития и потому сами не могут быть поняты без учета всех особенностей процесса в его генетическом разрезе и в его же различных стадиальных состояниях, т. е. без учета всех прочих языковых группировок.

Лингвист мог бы на этом и успокоиться, расширив рамки до указанных размеров. Но тут он ошибся бы. Дело в том, что язык представляет собою лишь одно из явлений общественной жизни и при том представляет собою явление надстроечного порядка. Тем самым язык не может быть понят только в своем собственном изолированном изучении. Как явление надстроечное, он не понятен вне связи с своим материальным базисом. Изучение всех норм языка, корнеслова, морфологии, семантики и т. д., не исключая даже фонетики, осталось бы без учета материального базиса в узких границах формально-сравнительных сопоставлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Языкознание неизбежно скатилось бы к постановке изучения только стабильных состояний. Так как базис изменчив, то изменчив и язык, выявляющий в языковых фактах пройденные этапы общественного развития. Следовательно, язык не может изучаться оторванно от изучения истории развития общества, и в то же время он сам своим материалом содействует раскрытию пережитых социальных изменений.

Таким образом, по языку мы можем судить о различных фактах истории развития общества. Но история общества изучается не только по языковым данным. Вещевед-археолог равным образом утверждает, что и он изучает историю развития общества по данным своей области знания, т. е. по вещественным памятникам. Оказывается, что оба исследователя субъективно преследуют одну общую цель. Но именно оба они должны отказаться от того, чтобы видеть самоцель в работе только над своим материалом. Вещеведение должно отступить на задний план, а в новой постановке работы и лингвист должен выйти за рамки узкого языкознания, также как и вещевед-археолог — за тесные рамки вещеведения, превратившись из археолога в историка. Лингвист новой школы не может обойтись без учета материалов смежных дисциплин, в том числе особенно истории материальной культуры, понимаемой как история материального производства, как историк материальной культуры не должен обходиться без использования в своих работах языковой сигнализации о пройденных этапах развития общества. В результате оказывается, что при исследовании, в частности, вещественных памятников как исторического источника, встает вполне конкретный вопрос о применении имеющихся лингвистических разъяснений, разумеется, не индоевропеистской, а новой школы языкознания, перестраиваемой ныне Н. Я. Марром и его учениками в школу марксистско-ленинской лингвистики.

Я имею в виду, конечно, вовсе не то применение конкретных данных лингвистических исследований в отдельных работах археолога, когда автор чисто механически проводит необходимую увязку. В последнее время мы слишком часто наталкиваемся на ссылки, затрагивающие выхваченные из контекста примеры, нередко не понятые, но все же приводимые как подтверждение исследовательских выводов. Ссылки от-

Деталь фриза на вазе из Чертомлыка

нюдь не всегда свидетельствуют о знании используемого материала, и ими иногда прикрываются совершенно не обоснованные антинаучные построения. Дело гораздо серьезнее. Увязка требуется не в таком виде. Историку культуры, историку материальной культуры в частности, необходим весь контекст, т. е. в данном случае весь охват системы языковедения, и тогда историк развития общественных форм подойдет к действительно надежным построениям.

Как на пример сошлюсь хотя бы на исследования скифологов, исследования наиболее актуальные по проявляемому к ним интересу и у нас и на Западе. Хорошо известная работа Н. Я. Марра «Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории» неоднократно и на словах и в работах цитировалась многими исследователями, и все же приходится вновь вернуться к ней же. Лингвистический материал ярко продемонстрировал происшедшие смены в хозяйственной деятельности человеческого общества, смены, не уловленные вещеведческою археологией, и дал прекрасную иллюстрацию для так называемой скифской стадии, остающейся не понятою старыми вещеведами-археологами.

Скифский олень, в глазах старого археолога, объединил, правда, Сибирь с севером Причерноморья, но объединение это, конечно, пошло по линии этнического определения с неизбежными путями мифического миграционного движения. По установившейся традиции Азия оказалась центром движущей силы, и разрешение генетического вопроса направилось в Минусинский край, противополагая Азию — Европе, Восток — Западу. «Этнос» продвинулся, перескочив горы Урала, и в этом своем воображаемом переселенческом движении «застыл» в своих старых формах на мифически-новом месте своего поселения. Придерживающаяся этого взгляда целая школа археологов, конечно, не одинока в разрешении сложного скифского вопроса. Существует другое научное направление, но оно не допускает таких фантастических перелетов. В противовес первому, оно устранило резкие географические преграды, искусственно обособившие эти два мира, и тем самым сняло старую лживую идею «с Востока свет».

Где границы Азии, за которые не смел переступить историк Европы? На юге, у Каспийского моря, граница определяется как будто точно: это Великий Кавказский хребет, так «ясно» отделяющий древности Северного Кавказа от вещественных памятников, представляющих древние культуры Закавказья. Вопрос, естественно, не в одностадиальности названных культур, а в том, что здесь — Европа, а там Азия. Казалось бы, что дело обстоит совсем благополучно, и скифы Европы действительно отделены снеговыми вершинами от Востока. В Передней Азии они уже чужие люди и там они могут только заблудиться в погоне за киммерийцами. Местом же их постоянного жительства являются причерноморские степи и пространства к северу от последних по бассейнам стекающих рек. Устанавливается как будто бы достаточно ясная картина, и «этнос» нашел свое местопребывание. Но лингвистический материал в свете нового учения о языке опрокидывает все эти построения. Поверженное вещеведение напрасно торжествует, восхваляя мелькнувший на Востоке свет.

Топонимические и этнические названия, носящие в себе скифскую основу, в свете нового учения о языке оказались присущими не одним только наименованиям скифской Сибири и скифского же юга Союза. В явное противоречие с существующею схемой выступила стадиальность, опрокинувшая всякие географические преграды. При чем Восток и Запад, когда мы имеем единый процесс развития и смен формаций и их стадий? Если же ход исторического процесса детализуется местными условиями, то тем менее данных для резкого разрыва. Единство поступательного движения может быть осознано только в единстве его противоположностей, иначе сам процесс перекроется мнимою статикой, и в исследователе воскреснет старый облик индо-европеиста. Нельзя изучать одну и ту же стадию изолированно в различных местах, затуманивая тем самым разноречивые нормы ее оформления. Языковый материал сигнализирует, что скифская основа присуща не одним только разновидностям этнического склота. Она выявляется в различных местах общего хода языкового развития.

Как ни странным может показаться на первый взгляд, все же приходится констатировать, что в разрешении скифского вопроса Н. Я. Марр менее всего останавливал свое внимание на том географическом районе скифского поселения, который обычно принимался прежними исследователями за основной. Значительная доля материалов, которыми пользовался Н. Я. Марр, пришлась на закавказский мир, так искусственно отделяемый Кавказским хребтом от «подлинного скифа». В целом ряде работ Н. Я. Марр выявлял «скифов Кавказа», в частности прослеживал их по материалам ванской клинописи, в которой обнаружился пережиточно тоже скифский

предшественник. Не менее значительная доля внимания пала на кельтский круг Западной Европы, и, наконец, решительный успех в разрешении того же самого вопроса обосновался на финских языках Приволжья. Для последователя школы Н. Я. Марра такая «разноместность» поисков не возбуждает никаких сомнений, хотя бы исследовательские искания и отошли далеко от скифских степей Черного моря. Ведь новое учение о языке опирается не на изучение этноса, а на изучение стадии. Последняя вовсе не обусловлена особенностями бассейнов Днепра и южных морей. Археолог, напротив, еще и сейчас обособляет объект своего исследования условными границами и охотно проявляет склонность удивляться поискам скифов на Кавказе. Его сомнения не разрешаются даже самими вещественными памятниками, вполне подтверждающими основательность таких поисков, и даже письменными источниками, утверждающими наличие у Ленинакана скифской области Ишкигулу со скифским же царем Шагаштаром во главе, современником Русы II, халдского царя середины VII в. до н. э., которому он и посылает таблетки с письменами еще не разобранного языка. Реальные свидетели скифского присутствия в Закавказье замалчиваются, так как иначе нарушается предвзятая схема и падает традиционная непроходимая преграда снеговых гор. Лингвистика в новом освещении ее материалов далеко опередила исторические построения, основанные на формальном изучении вещественного материала, и то, что может смутить старого вещеведа, вовсе не смущает нового языковеда. Наоборот, лингвиста старой школы в значительно большей мере смущают воздвигаемые археологом границы, препятствующие подходу к изучению скифа и кельта, жителя Причерноморья, Закавказья, Сибири и т. д. с точки зрения одностадиальности.

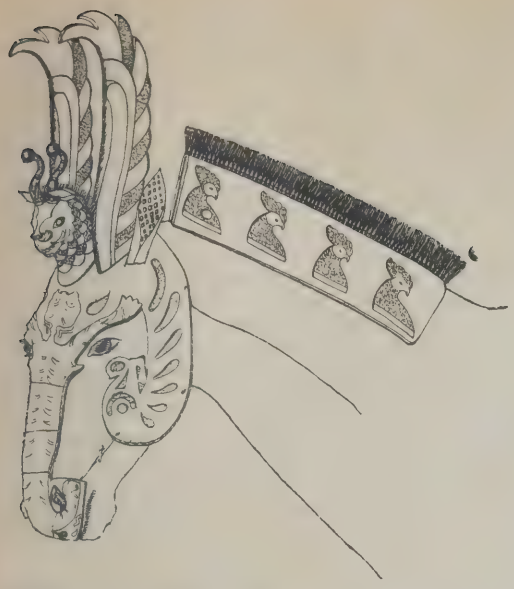
Маска на голове лошади (Пазырык)

Вопрос о применении лингвистики при исследовании вещественных памятников выдвигает тем самым научное построение скифологии на иных, чем сейчас, началах. К скифу приходится подходить стадиально и по вещественным памятникам, выявляя на основании последних и на основании языковых данных социально-экономическую структуру не этноса, а общества данной стадии развития, вне всякой зависимости от расового признака. Исчезает столь искусно воздвигнутая грань между Западом и Востоком. Изолирующая стена оказывается на деле научно необоснованной. Нельзя же, в самом деле, дробить период разлагающегося родового строя общества с формирующимися родо-племенными союзами только по признаку нахождения общества в той или иной части света. Напротив, при разрешении задачи научной обработки и научной музейной экспозиции необходимо объединить более широким охватом весь данный отрезок архаической формации, единый по ведущему признаку и многообразный в его внешнем выявлении. Если скифская стадия речи не может быть понята вне общего охвата самой стадии, где бы она ни выявлялась, то, равным образом, и скифская стадия истории культуры останется непонятою при изолированном изучении лишь одних причерноморских скифов.

Вопрос, казалось бы, ясный, но тем не менее он нуждается в обострении для решительного поворота в сторону серьезного научного обоснования предстоящей исследовательской работы. Строя камеральное исследование и музейную экспозицию по социально-экономическим формациям, нельзя отдельные части одной и той же формации дробить и демонстрировать зрителю в их замкнутой обособленности. При таком дроблении диалектика развития не будет ни в какой мере показана, и работа тем самым неминуемо выявит мнимую стабильность.

По вещественным памятникам определенной стадии прекрасно известен скифский олень. Это уже не реальное животное, но в то же время оно еще не окружено той мифической трактовкой, которая была бы естественна для нереального образа, всецело оторвавшегося от своих живых образцов. Скифский олень еще не сохраняет свою реалистическую фигуру, но только последняя выступает в своеобразном не реалистическом контексте. Все говорит за то, что мышление сколота воспринимает оленя не в естественной для него обстановке дикого зверя или домашнего животного, а несколько иначе. В названных изображениях олень находится в бегу с поджатыми ногами, знаменующими усиленный галоп, иногда же этот олень борется с грифоном, вернее — побивается им. В таком образе олень неоднократно выступает на памятниках скифского искусства, тогда как в самой жизни, судя по остаткам скифского культурного слоя, затронутого раскопками, главным образом погребений, оленя в столь подавляющем числе нет вовсе. В реальной жизни его место заступил конь. По всем имеющимся у нас данным, именно лошадь играет выдающуюся роль в хозяйстве скифа-кочевника, ясно выступая в этом своем назначении в могильном инвентаре тех же самых погребений.

Хозяйство скифа вырисовывается не только по письменным свидетельствам классических писателей, но и по орнаментальным сюжетам находимых скифских изделий и по скифскому погребальному инвентарю. Те же памятники дают основание судить о социальной структуре скифского общества. Проведенный исследователями анализ имеющихся данных позволяет прийти в заключению, что скифы жили, правда, родо-племенными союзами, но уже в условиях разлагающегося первобытно-коммунистического строя хозяйства, в условиях образования частной соб-



Маска на голове лошади (Пазырык)

ственности. Частная собственность все более и более становилась условием выдвижения вождя родо-племенной группы. И такой умирающий собственник, обычно уже ставший вождем родо-племенной единицы, уносил с собою в могилу свое имущество. Этим объясняется богатство курганных погребений так называемых скифских царей. А если в могилу клалось имущество уже частного собственника и притом вождя, т. е. то, чем вождь пользовался и при жизни, то инвентарь погребения дает непосредственный материал для суждения об основных формах хозяйства, в котором виднейшая роль принадлежала именно вождю, так сказать, нового покроя.

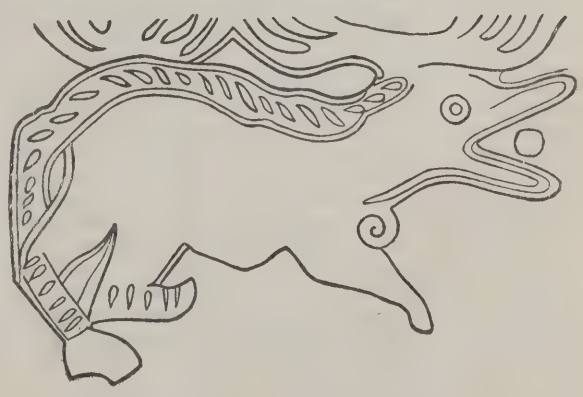
Такая особенность погребений в так наз. царских курганах, при выявившемся имущественном неравенстве, как следствии идущего процесса социльного расслоения, достаточно ясно вырисовывает основные формы хозяйства в лице его главнейших представителей, коня и раба, насчитываемых в громадном количестве. Обильное количество коней ясно отмечает кочевое скотоводство, успешному развитию которого способствовали громадные размеры степей юга Восточной Европы. Кочевничество усиливает и воинствующий характер скифа, оберегающего себя и в то же время нападающего, что еще более укрепляет положение вождя. При кочевом скотоводстве и при набегах исключительная роль коня оправдывается сама собою, тогда как олень при таких условиях выступает уже как пережиток предшествующего стадиального состояния, когда и он играл наиболее крупную роль в производстве. Прежняя хозяйственная роль оленя передалась в новое скифское состояние и осмысляется им с соответствующим семантическим различением.

Что касается Закавказья, то представленные здесь в многообразии «циклопические крепости», вернее — поселения, в полной мере свидетельствуют о наличии в Закавказье в первом тысячелетии до н. э. той же «скифской» стадии[1] Она представлена отдельными родо-племенными союзами с выделяющимися новыми вождями, что устанавливается как по вещественным памятникам, так и на основании текста клинообразных надписей древнего Вана, разбираемых мною в другой работе. И здесь олень не менее ярко выступает в вещах и в фольклоре, сохраняясь чуть не до наших дней, например, в легендах, связанных с христианскими храмами. Тут он оказывается уже жертвенным животным, рога его приносятся в храм. Сам он также является в храм, там он поедается и вновь появляется после годового перерыва. Такая легенда об олене явно связана с солнечным круговоротом. Это уже солнечное существо, связанное с мировоззрением такой стадии, когда в экономической жизни соответствующего общества видную роль играет земледелие.

Что оленя, как средство передвижения, заменяет лошадь, это в точности устанавливается упомянутыми работами Н. Я. Марра. Это устанавливается не только на основании лингвистического материала, но и на основании вещественных памятников. Однако материал начинает ярко и убедительно свидетельствовать об этом лишь при перестройке научного исследования на изучение стадиальных переходов. Лишь в этом случае историко-археологические изыскания, при широкой стадиальной постановке и при отказе от узких географических и этнических рамок, дают основание для построения правильных выводов. Лингвистика производит перестройку. Дело за «археологией».

При стадиальных сопоставлениях мы получаем возможность осмысления отдельных явлений, остающихся непонятными в их изолированности. При такой переработке наличного материала выяснится семантическая палеонтология и установится действующее значение сосуществующих противоречивых норм стадиального оформления и сосуществование разностадиальных явлений. Именно это и наблюдается в каждой стадии. Поэтому же необходима палеонтологическая типология и при ней подлинно сравнительный анализ, а не простые только формальные сопоставления, на которых зиждется пока псевдонаучное исследование, выдвинувшее формально-сравнительный метод, не считающийся ни с динамикою исторического процесса вообще, ни с формами диалектического развития в частности. При формальном анализе семантика вещи часто не улавливается, а семантические переходы вовсе ускользают от внимания.

Пример семантического изменения находим в материалах курганного погребения урочища Пазырык на Улаганском плоскогорье Восточного Алтая. Там в 1929 г. раскопано богатое погребение с большим количеством конских костяков, причем две из захороненных лошадей были маскированы, одна — вполне типичными рогами северного оленя, а другая — ро-



Закавказская поясная пряжка

[1] Циклопические крепости Закавказья, Известия ГАИМК, т. XIII, вып. 4—7.

Заказказская поясная пряжка

гатою головою крылатого грифона. Олень в быстром беге представлен деревянными псалиями из того же погребения[1]. Исследователь этого могильника правильно объяснил маскирование животного, утверждая, что северный олень в данной его функции средства передвижения должен был предшествовать коню, но он упустил из виду, что целевая установка передвижения может быть различна. Одно дело использование оленя в хозяйственном назначении, другое дело его же использование в культе. На олене ездил когда-то человек и потому на нем же увозился в могилу. В обоих случаях функциональное использование животного одно и то же: животное перевозит. Позднее консервативный культ сохранил этот обычай в погребальном обряде и тогда, когда оленя в быту заменила лошадь. Разошедшееся в своем исполнителе средство передвижения привело смешение форм, перенеся на коня внешний облик его предшественника по той же функции.

Получившееся противоречие внешне согласовалось в маскировке. Но не в одном только этом заключается наличное расхождение. Оно выявляется еще и в том, что олень в хозяйственном периоде, где функционально заменила его лошадь, сохраняется уже в мифической обработке культового воззрения и может использоваться вовсе не как средство передвижения. Здесь семантика его совершает резкий скачок, и то же самое существо качественно видоизменяется, подпадая под новое осмысление, воспринимающее его совершенно в ином облике, внешне даже утратившем связь с предыдущим своим же состоянием. Простое только прослеживание плавного перехода оленя в коня и т. д., с вечною устойчивостью функций, представляет ход исторического процесса в чрезмерно упрощенном виде, схваченном лишь под одним углом зрения именно данной формы строго определенного хозяйственного назначения. Тут-то и выступает вся сила палеонтологической разработки темы, построенной на прослеживании не плавных переходов, а резких скачкообразных перемен наблюдаемых форм, когда разное по внешности оказывается генетически тождественным даже при изменении своего функционального назначения. Это расхождение до степени полной противоположности дает построение палеонтологической типологии, сравнивающей различные моменты в их схождении и расхождении. Наоборот, обычно применяемый еще в научной работе формально-сравнительный анализ базируется исключительно на внешнем сходстве, пользуясь описательной типологией. Он не улавливает диалектического движения, и видоизменение значимости нередко признается им за новое явление, вовсе оторванное от своего предыдущего, качественно иного содержания. Дело в том, что в нашем примере изменяется не только вьючное или ездовое животное, но и переменяется его хозяйственная роль на культовое служение. Скифский олень уже не средство передвижения, хотя и обязательный спутник иной его функции. Скифский олень становится уже культовым тотемом и воспринимается как таковой с отражением его хозяйственного значения не этой, а предыдущей стадии. Поэтому у скифов, в их стадиальном, а вовсе не этническом понимании, следовательно, не у одних только причерноморских сколотов, олень сосуществует не только с конем в виде оленьей маски на голове лошади, но и с нереальным существом, с грифоном. Данное сочетание остается совершенно непонятным для статического наблюдателя, беспомощно ограничивающего свои задачи голой публикацией памятников скифского искусства. На этот путь свернула буржуазная скифология, идеалистически оторвавшая скифское искусство от самого скифа, т. е. от скифского общества. Вполне естественно, что именно поэтому облик сколота остается затушеванным, да и ненужным в своем раскрытии, раз направление работ пошло по линии изучения форм рогов и поджатых ног. Здесь анализуется олень в его внешней трактовке, а вовсе не он же в его функциональном назначении данного изображения, и тем менее скиф с его внутренним содержанием. И, само собою разумеется, исследователь-формалист далек от уяснения себе того, что данный комплекс нельзя понять без учета стадиального мышления во всех его противоречивых сочетаниях.

Для анализа «скифского сюжета» значительный свет проливает лингвистический разбор скифского лексического материала. Им выясняется, что сколот-колх неразрывно связан с золотом (ср. немецкий его эквивалент того же значения Gold), золото же и солнце тождественны, что свидетельствуется также клинописною идеографикою. Таким образом, приходится констатировать в скифском мировоззрении выдающуюся роль солнца, поскольку таковое выявляется в племенной номенклатуре, тотемистичной по своему содержанию. Такое значение солнца обычно связывается с земледельческою культурою, и, очевидно, далеко не случаен спустившийся с неба золотой плуг скифов. Как это указание классического писателя на скифский миф, так и анализ самого термина сколот (колх) в его связи с золотом, все указывает на то, что бегущий олень неразрывно связан с тем же солнцем, представляя бег его по небу. Это является выражением на вещевом памятнике солнечного мифа, т. е. мифа земледельческой культуры, находящегося в теснейшей связи с упомянутым выше золотым плугом. Отсюда легко прийти к заключению о смысловом значении сцены оленя с грифоном, олицетворяющей собою земледельческий же миф умирающего и воскресающего бога, следовательно, солнца в его суточном обращении с погружением в ночь, в преисподнюю, в воду и с утренним воскресением его в молодом образе.

Такая сцена борьбы оленя с грифоном, другими словами — сцена пожирания его вишапом, и представляется наиболее уместною в погребальном культе для мышления общества определенной ступени раз-

[1] Сообщения ГАИМК, 1931, № 2, стр. 25 сл.

вития. Наличное тут столкновение двух противоположных начал, света и мрака, достаточно ясно выступает и на пазырыкских масках, из которых одна дает голову оленя, олицетворяющего солнце — свет, а другая грифона — мрак, преисподнюю. Нужно полагать, что лошади с такими двумя масками находятся в тесной связи друг с другом, представляя ту же сцену, каковую встречаем на скифских изделиях, изображающих ее же в слитной композиции. Во всяком случае, мы находим в них обеих одностадиальное изображение, содержание которого осталось не уловленным исследователем алтайских древностей. Он подошел к ним с обычною статическою типологией и, отметив различие внешних оформлений, истолковал их сосуществование как действующую норму и пережиток, вместо того чтобы признать их совместное наличие в одном комплексе за выявление противоречивых антиподов. По словам автора, «вторая маска, предназначенная для второй лошади, уже значительно уклонилась от исходной модели. Под влиянием позднейших культурных влияний на этой маске появляется рогатая голова грифона, а место оленьих рогов занимают его крылья. Должно было пройти значительное время, чтобы в погребальном ритуале произошло подобное превращение».[1]

Превращение шло вовсе не по линии, отмеченной автором статьи о «Скифском погребении Восточного Алтая», не по линии оленя, трансформировавшегося в грифона, а по линии оленя и лошади, причем последняя, а вовсе не грифон, связывалась с первым как ритуальный пережиток, получив оленью маску на свою голову. Изменение, кроме того, шло и по другой еще линии, превратив оленя из средства передвижения в символ солнца, благодаря чему он вступил в противоречие не только с конем, но и с самим собою — по новой и прежней своим функциям. Изменился не только предмет, но и его содержание.

Тот же сюжет солнца, как разновидности общего понятия неба с его двумя антиподами, верхним и нижним небесами, светом и мраком, ясно прослежен в работах Н. Я. Марра по лингвистическому материалу.[2] В связи с этим олень выступает и как хтоническое существо, как солнце, погруженное во мрак, отсюда — сошествие в преисподнюю и т. д. Трактовка такого оленя получает свои особенности, приближающие его к типу грифона, но все еще с оленьими рогами. Только с этой стороны раздвоенности представления и можно говорить о грифоне как деривате оленя, но, конечно, не в части реальной пазырыкской маски. Грифон есть порождение оленя лишь в расчленении их общего когда-то облика, вовсе не означавшего данный вид животного. Он становится им позднее в конкретной обстановке тотемической стадии и мог закрепиться вовсе не за одним оленем. Позднейшее осмысление переключает на миф пройденные этапы исторического процесса. Таким путем драконоборец в своем генезисе оказывается тождественным дракону, и кавказский вишап-руймон рождается от оленя. Впрочем, и в процессе расчленения обособившиеся представления скрещиваются, давая внешнее сходство мотивов, но качественно совершенно иные. Первичная слитность неба была диффузна по сравнению с вышедшим из него антиподом, тогда как позднейшее соединение представляет собою уже скрещение. Процесс должен прослеживаться не по прямой линии генетического разреза, а по вертикальной же линии, но диалектического развития. Видоизменение функции проводит скрещение форм в самом изображаемом существе. Таков, например, олень на медной бляхе Айдашинской пещеры Ачинского округа, значительно отошедший от своего прототипа.[1] Такое же скрещение форм легко усмотреть в хорошо известном сюжете рогатых лошадей и так называемых оленеконей на поясных пряжках Закавказья, впрочем, не без основания заподозренных в своей подлинности.[2] Все же, и при этой их опороченности, они заслуживают внимания, так как, вне сомнения, данного рода кубачинские подделки имеют в своей основе архаический образчик, который и передают, может быть с позднейшим искажением деталей, но не самого содержания. Сюжет их во всяком случае архаичен. В нем мы прослеживаем тот же процесс трансформации с переходом оленя в коня и хозяйственной основы в культовую. Останавливаться подробнее на разборе означенных памятников я не решаюсь за отсутствием уверенности видеть хотя бы в некоторых из них подлинные экземпляры. Тем не менее, анализ, с этой стороны, звериных изображений Закавказья мог бы дать очень много. Пока же исследования, заглушенные формально-вещеведческим подходом к памятникам, дать ничего не могли. При той же социально-экономической структуре Закавказья «урартского» периода, при разлагающемся родовом строе, должен всплыть и действительно всплывает «скифский мотив».

Самый процесс отмеченной трансформации, выявляющийся на темах оленя и коня, света и мрака, хозяйственной основы и культовой, ярко отражает отдельные моменты социальной перестройки. Мне представляется убедительным определение исследователя Пазырыкского кургана, в части социальной структуры устанавливающего родовой строй на основе скотоводческого хозяйства и, еще точнее, разложение этого строя, т. е. именно то, что и выявляет собою вообще скифская стадия. Здесь олень из хозяйственной основы перешел в миф, замененный хозяйственной ролью лошади, которая позднее, в следующую стадию, сама равным образом получает мифическую обработку, попав в услужение того же самого солнца, заменяя и здесь оленя в солнечном беге. Таков персидский кон, он же и в закавказском фольклоре. Таков конь Олега, на могиле которого гибнет сам князь, также конь халдского царя Менуа, Арцибин, погребенный с постановкою над ним особо ему посвящен-

■

[1] Ук. соч., стр. 28.
[2] Доклады Академии наук, 1924, стр. 8 — 14, 23 — 31.

[1] ОАК, 1897, рис. 147.
[2] Сообщения ГАИМК, 1931, № 1, стр. 33 — 34.

Закавказская поясная пряжка

ного могильного камня.[1] Здесь мы переходим уже к культу коня, т. е. к последующей стадии, обоснованной на иной хозяйственной базе.

Проработка звериных изображений в Скифской группе Государственной академии истории материальной культуры повлекла за собою собирание разностороннего материала для определения по нему социально-экономической структуры так называемого «скифа».[2] Согласно данным проведенной работы, олень выступает как объект охоты, он же в определенной стадии — средство передвижения, уже как домашнее животное. Земледельческая культура окружает его мифическою оболочкою, переключая в культ солнца. И если в этом виде олень сохраняется в кочевом хозяйстве скифа-скотовода, то лишь потому, что скиф-кочевник вырос на земледельческой почве, иначе не могли бы укрепиться у него пережитки предшествующей земледельческой основы. Закочевавший скотовод и есть то, что мы называем скифом. Скиф вовсе не пришел из Сибири, он «появился» здесь же в Причерноморье, когда «заскифило» население. В этом же содержании термина мы прослеживаем его и в Передней Азии и в Сибири. Пограничные столбы Азии тут не при чем, а проводимые между странами света грани не в силах сдержать ход единого диалектического процесса. Дело лишь в конкретных его проявлениях, и для освоения их необходим весь охват стадии, разнообразной по локальным особенностям, но единой по ведущей социально-экономической основе. Скиф в своем кочевом хозяйстве опирается уже на рогатый скот и на коня, который поэтому и погребается в могиле скифского вождя, как его имущество, представленное в погребениях десятками и даже сотнями. Конь у скифа — реальное средство производства, тогда как олень у него уже миф, лишь палеонтологически вскрываемый в своей старой, пережитой хозяйственной роли.

[1] Доклады Академии наук, 1929, стр. 34.
[2] Доклады А. П. Манцевич и Б. А. Латынина.

А. В. Шмидт

Об использовании этнографических материалов в работах по истории материальной культуры

Резкая грань между археологией и этнографией характеризует буржуазную науку. Исследовательская работа этих двух отделов науки об обществе протекала, а в буржуазных странах и до сих пор протекает, совершенно независимо одна от другой. Археологи чуждались этнографического материала, этнографы сторонились от археологии. Между представителями обеих общественных дисциплин, по сути дела работающими над одним и тем же материалом, стояла глухая стена. Нередко было можно столкнуться со своего рода «принципиальным» враждебным отношением между представителями обеих дисциплин; весьма обычно полное незнакомство археологов с результатами этнографических исследований, этнографов с достижениями археологической науки.

За примерами ходить не далеко. Так, в этнографических работах игнорирование археологических материалов приводило подчас к грубым ошибкам. Например, среди этнографов долгое время держалось и кое-где высказывалось печатно ни на чем не основанное мнение, будто бы автохтонному населению Сибири никогда не была знакома глиняная посуда. Между тем, каждому, хоть немного знакомому с археологией Сибири, прекрасно известно, что вся Сибирь от северного Ямала до Алтайских гор и от Урала до Сахалина и Камчатки буквально переполнена черепками древней глиняной посуды. Другой пример. У финляндского исследователя Карьялайнена мы находим странную попытку объяснения остроконечной формы головы деревянных сибирских «идолов»... остроконечным головным убором казаков, завоевателей Сибири в XVI — XVII вв.[1] Эта несуразная гипотеза едва ли бы вообще возникла, если бы автор был знаком с остроконечными головами многочисленных уральских и западносибирских «археологических» изображений. В работе одного русского этнографа мы натыкаемся на утверждение, что в «старшем» каменном веке существовала глиняная посуда. Автор, очевидно, совсем не знаком с археологией; во всяком случае его мысль можно понять только как утверждение существования глиняной посуды в палеолите. Но это ни в какой степени не соответствует действительности.

С другой стороны, в таких классических работах старой археологии, как труды Монтелиуса, Софуса Мюллера, Линденшмидта, Мортилье, Буля, мы совершенно не находим использования этнографических материалов. Школа германского археолога Коссины игнорирует этнографию. В работах известного финляндского археолога Тальгрена мы только в последнее время находим некоторые попытки привлечь данные этнографии. То же самое наблюдалось и в русской археологии. Ни в работах Ростовцева, ни в многочисленных статьях, опубликованных в Записках Археологического общества», «Трудах Московского археологического общества» и т. п., мы не видим никаких или почти никаких попыток использовать данные этнографии. Чисто формальное самоограничение одним археологическим материалом не вполне изжито у нас и до сих пор. При фрагментарности археологических источников оно приводит к появлению многих неправильных представлений. В известной степени за счет этого самоограничения следует поставить совершенно ошибочную склонность, неоднократно проявлявшуюся в работах московских и ленинградских ученых, считать все общества, знакомые с металлом, за классовые. С тем же явлением связана недооценка хозяйственной роли земледелия в архаических обществах Восточной Европы и, наоборот, переоценка скотоводства. Примером может явиться хотя бы статья В. И. Равдоникаса о возникновении феодализма у карел, в которой совершенно неверно начало земледелия в Приладожье (подсечно-мотыжного!) относится чуть ли не к XII в. н. э. и весь процесс феодализации вплоть до появления городов изображается развертывающимся на основе скотоводства и охоты.

Если в старых археологических работах мы иной раз и встретимся с использованием этнографических материалов, то оно в большинстве случаев производится с точки зрения той или иной расовой теории. Так, например, для объяснения некоторых явлений европейского верхнего палеолита привлекался чукотский

[1] Karjalainen, Die Religion der Jugra-Völker. II. Folklore Fellow Communications, № 44, 1922.

[1] Карело-Мурманский край, 1931, № 3 — 4, стр. 17 — 18.

или эскимосский этнографический материал. Исходным моментом для этого явился обусловленный миграционной теорией взгляд на современные полярные народы как на потомков продвинувшегося на север вслед за отступающими ледниками и уходящим северным оленем палеолитического населения Средней Европы. Изучавшие археологические памятники окского и средневолжского районов склонны были на основании присутствия в тех или иных «культурах» разных привесок и других металлических украшений, в известной мере напоминавших женские украшения современных мордвы или марийцев, говорить о существовании подчас в очень глубокой древности в упомянутых районах «финских» племен. Совершенно обратные выводы делали археологи, работавшие в Пермском крае. На основании отсутствия у современных коми-пермяков и удмуртов так называемых шаманских религиозных изображений, шумящих привесок и некоторых женских металлических уборов, известных у древнего населения, пермские археологи настойчиво утверждали, что современные автохтонные народы Предуралья не являются потомками древнего населения, а пришли откуда-то со стороны.[1] Можно привести еще ряд примеров привлечения археологами этнографических данных под углом расово-национальной точки зрения. В основе их лежит хорошо известное формально-метафизическое убеждение о неизменности культурных признаков, свойственных тем или иным этническим группам.

Старая археология избегала привлекать этнографический материал даже для разрешения такой узкой задачи, как определение функции тех или иных орудий и других предметов. Зато широко практиковалось кабинетное выяснение или, лучше сказать, вымучивание назначения тех или иных археологических объектов. Исследователь при этом любил мысленно становиться в положение Робинзона и пробовать, что можно «с точки зрения здравого рассудка» осуществить с помощью того или иного предмета. О плачевном результате таких изысканий над каменными орудиями было уже говорено достаточно.[2] В отношении более поздних этапов архаического общества особенно показательны известные формочки для литья В. А. Городцова.[3] Сравнение со стадиально-близкими этнографическими объектами неопровержимо доказывает, что эти «формочки» служили вовсе не для литья, а являлись выпрямителями древков стрел, которые часто коробятся от сырости.[4]

Конечно, иной раз и формальное сравнение и привлечение этнографического материала, интерпретированного на основе расово-национальной точки зрения, может дать некоторые результаты. Но нечего и говорить, что правильные выводы являются в таких случаях не методологически обоснованными, но случайно угаданными. Привлечение этнографических материалов, обработанных с расово-этнической точки зрения, может дать правильные результаты лишь в том случае, если археологические материалы и привлекаемые этнографические данные относятся к одной и той же стадии развития данного общества. Приведу в пример работу Will'я и Spinden'а о манданах, одном из северо-американских народов.[1] Для истолкования результатов раскопок в долине Миссури оба автора широко использовали этнографические данные, почерпнутые из отчета Верандри, Льюиса и Кларка, Кетлина и др. путешественников XVIII и первой половины XIX в. Но поселение, раскопанное Will'ем и Spinden'ом, всего на несколько веков старше манданских поселений, посещенных вышеупомянутыми путешественниками. За этот короткий период социально-экономическая структура и формы общественного материального производства оставались в основном почти неизменными. Другим примером могут являться работы по археологии Камчатки, полярной Америки и других отсталых областей, население которых еще в недавнее время находилось на относительно ранних этапах архаического общества.[2] Успешность тех или иных сравнений с современными (или недавними) камчадалами, эскимосами и т. д. объясняется в указанных случаях, конечно, не применением правильных научных приемов, а случайным использованием надлежащих материалов. Дело в том, что описываемые общества в силу определенных причин вполне закономерно являлись в данный период времени относительно застойными в своем общественном развитии и вследствие этого сохранили в быту формы и явления, возникшие тысячелетия тому назад.

Формальное самоограничение одним археологическим материалом или использование этнографических данных, обработанных, собственно, под углом расово-этнической точки зрения, произвольно суживая наши сведения о прошлых периодах истории общества, методологически, конечно, совершенно неприемлемо. Марксистско-ленинская методология требует максимального по полноте использования источников. Марксистско-ленинская теория преодолевает и разбивает формальные перегородки между отдельными искусственно созданными буржуазной наукой «научными дисциплинами». Марксистско-ленинское учение знает только единую науку, объединенную единым методом, методом диалектического материализма. Марксизм не может иметь две истории общества: одну — строящуюся на этнографических материалах, другую — на археологических.[3]

Ярким показом действительно научного подхода к археологическим и этнографическим материалам является работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Для характеристики ранних стадий развития человеческого общества Энгельс широко привлекает и этнографические, и археологические, и лингвистические, и письменные материалы. Никаких перегородок между отдельными отраслями науки, усердно культивируемых и поныне буржуазным научным исследованием, для Энгельса,

---

[1] Точка зрения, широко распространенная у местных работников Урала.

[2] См. напр., статью А. Я. Брюсова в «Трудах Секции теории и методологии РАНИОН», II, 1928, стр. 14. Попутно отмечу, что еще в начале XVIII в. умный иезуит Лафито на основании наблюдений над североамериканскими индейцами установил, что находимые в земле каменные топоры вовсе не громового происхождения (как тогда думали), а являются человеческими орудиями. Однако Лафито не имел последователей в привлечении этнографических данных.

[3] Каталог выставки XII Арх. съезда, 1902: также Труды XII Арх. съезда, т. I, 1905 г., стр. 194.

[4] См., напр., Hodge, Handbook of American Indians... Bulletin 30 of Bureau of American Ethnology, I, 1907, стр. 92.

---

[1] G. F. Will and H. G. Soinden, The Mandans. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, т. III, № 4, 1906.

[2] Считаю необходимым отметить, что привлечение лопарского этнографического материала к истолкованию археологических остатков, обнаруженных мною на Оленьем острове в Лапландии, произведено на основе расово-этнической точки зрения, а, следовательно, является методологически неправильным (подразумеваю статью «Древний могильник на Кольском заливе», Кольский сборник, 1930).

[3] Столь же неприемлема и третья история, строившаяся индо-европеистами на основании только лингвистических данных.

как и, разумеется, для всех последователей марксизма-ленинизма, не существует. [1]

Посмотрим, каким образом Энгельс использует привлеченный большой материал. Энгельс его использует с учетом стадиальности, т. е. все время принимает во внимание этапы общественного развития. Те или иные этнографические, археологические и иные данные привлекаются им не «вообще» для характеристики первобытного общества, но для исследования общественного производства и общественных отношений *на том или ином этапе развития первобытного общества.*

Данные о палеолите Энгельс использует, говоря о совершенно определенном этапе развития первобытного общества. Совершенно так же поступает он с данными по неолиту и т. д. Энгельс отнюдь не привлекает данные о палеолите или неолите то там, то здесь, то для характеристики одного этапа, то для характеристики другого этапа. От такого произвола Энгельс бесконечно далек.

Способ работы Энгельса дает нам руководящие указания. Этнографические материалы для работы по истории общества и его материального производства должны привлекаться со строгим учетом стадиальности. Стадиальность является необходимым условием методологической правильности производимой научной работы. Следовательно, прежде чем привлекать данный этнографический материал, необходимо выяснить, соответствует ли он изучаемым археологическим памятникам стадиально. Нечего и говорить, что, как правило, недопустимо использование для истолкования данных археологических памятников этнографических материалов, социологически относящихся к другой формации. [2] Больше того. Совершенно необходимо учитывать также этапы формации. Нельзя, например, для объяснения памятников дородового общества безоговорочно пользоваться материалами родовых, тем более сельских общин. [3]

Поэтому я не могу согласиться с С. А. Семеновым-Зусером, когда он для характеристики скифского общества использует в числе других данные об австралийцах. [4] Этап, на котором находилось австралийское общество в момент наблюдений, привлеченных С. А. Семеновым-Зусером, конечно, не тот, на котором находилось скифское общество в эпоху Геродота. Не могу я согласиться и с П. П. Ефименко, когда он для истолкования некоторых фактов из жизни палеолитического общества эпохи ориньяка привлекал данные по эскимосам. Эскимосы ведь работают шлифованными каменными орудиями, пользуются (точнее — пользовались) глиняной посудой, следовательно, стоят безусловно на более высокой ступени развития, чем ориньякское человечество, не знавшее ни шлифованных орудий, ни керамической посуды. [5] Аналогичную ошибку делает и Обермайер в известной книге «Человек в доисторические времена», привлекая для объяснения некоторых пещерных палеолитических изображений Западной Европы известный меланезийский танец «дук-дук». В чем ошибка Обермайера? Меланезийское общество, в котором бытует этот танец, находится на родовом этапе архаической формации, тогда как упомянутые пещерные изображения оставлены несомненно дородовым обществом. Лишь при определенных условиях, после некоторых предварительных изысканий, о чем речь будет ниже, допустимо использование стадиально более поздних общественных элементов для объяснения более ранних. Обермайером, далеким от марксизма и враждебным ему, эти условия не были соблюдены. К той же категории ошибок принадлежит, с моей точки зрения, часто встречающееся применение термина «шаман» к известному палеолитическому изображению рогатой человекообразной фигуры из пещеры Трех братьев в Ариэже (Франция). Сибирские и аналогичные им северо-американские шаманы суть шаманы родового общества. Было бы ошибочным переносить их в дородовое общество верхнего палеолита. Несомненно, что между носителями определенных религиозных функций в дородовом обществе и шаманом родового общества существует значительное различие, обусловленное социально-экономическими различиями этих двух этапов первобытно-коммунистического общества. Не следует, конечно, переоценивать различия между этапами первобытно-коммунистической формации. Разумеется, этапы формации — это не самые формации. Способ производства остается одним и тем же. Но из этого, конечно, не следует, что, используя этнографический материал для освещения археологических данных, мы можем мешать воедино различные этапы архаического общества. Ведь в подобных конкретных случаях нашей задачей является не выяснение способа производства, — он уже известен, — а более детальные моменты. Правильное их понимание невозможно без учета особенностей каждого отдельного этапа развития той или иной общественно-экономической формации.

Использование этнографических материалов для истории конкретных архаических обществ, известных по археологическим, иной раз также и письменным источникам, находится до сих пор в зачаточном состоянии. Так, например, о вождях скифского общества имеется немало археологического материала, но сделана ли попытка осветить эти данные на основании этнографических сведений, весьма многочисленных, о вождях у зулу, кафров, ваганда и других народов Африки? Нет, этого до сих пор не сделано. Между тем немало данных говорит в пользу того, что упомянутые африканские общественные образования стадиально во многом близки скифским. Или другой пример. Не так давно процветали у нас — а на Западе и до сих пор сильны — теории происхождения так называемой расписной керамики (типов Триполья, Анау, Гань-су и т. п.) из одного пункта, — все равно, искать ли его в Китае, Средней Азии или на юго-востоке Европы. Мы знаем теперь, что появление расписной керамики есть закономерное явление, являющееся результатом внутреннего развития в определенных общественных условиях. Миграции и заимствования тут не при чем. Но, тем не менее, многое в этом общественном явлении нам не ясно. Между тем Америка дает общества, характеризующиеся подобной же расписной керамикой (пуэбло Новой Мексики, хопи Аризоны и т. п.). Эти общества, стадиально, несомненно, близкие Триполью и т. п., неоднократно изучались этнографами. Использованы ли материалы о них в археологической литературе по афревразийской цветной керамике? Нет, этого не сделано.

Приведенные примеры можно пополнить многими другими. Едва ли могут быть сомнения, что изучение различных сторон общественного материального производства, например, родовых обществ (обработка камня, кости, дерева, керамическое производство, первобытная металлургия и т. д.) значительно шагнуло бы вперед, если бы вышло за пределы одних археологических материалов. Несомненно, что данные этнографии могут дать огромный материал по этим вопро-

[1] Примеры использования археологического материала в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» — стр. 5 (неоднократно), 7, 55 — 56 (по изд. 1919 г.).

[2] В каких случаях и при каких условиях это все-таки возможно, Энгельс показывает нам на некоторых конкретных примерах. См. ниже.

[3] Ср. предшествующее примечание.

[4] Известия ГАИМК, т. IX, вып. 1, стр. 25.

[5] Имею в виду доклад. читанный в Архаическом секторе ГАИМК в мае 1931 г.

сам. Пока в этом отношении сделано очень немного.[1] Постараюсь показать на одном примере, насколько привлечение живого материала может поколебать установившиеся было положения. В археологических кругах до сих пор очень сильно представление, что развитие архаической металлургии связано с появлением особой профессиональной группы металлистов. Однако этнографический материал показывает, что это развитие далеко не всегда идет этим путем. Негрская Африка дает интереснейшие факты. Так, выплавление железа у земледельческого племени фанов в западной Африке совершается отнюдь не профессиональными кузнецами, но коллективным трудом ряда мужчин, членов данной общины.[2]

По дородовому обществу в данном направлении сделано тоже немного. Работы В. К. Никольского широко известны, но они не лишены крупных методологических ошибок. Правильные моменты имеются в статье П. И. Борисковского о начатках текстильной техники у австралийцев.[3] Совсем ничего не сделано в данном направлении по раннеклассовым обществам, например, по феодальному, хотя общества раннефеодального типа имеются, например, в той же Африке. В. И. Ленин в известной «Лекции о государстве» отмечает, что «у наименее развитых народов следы рабства остались еще и теперь, и учреждения рабства, например, в Африке, найдутся и сейчас» [относится к 1919 г.].[4] Но сделано ли что-нибудь для использования этих, можно сказать, живых материалов в работе по изучению древних рабовладельческих обществ Средиземноморья. Нет, в этом направлении ничего не сделано.

Почему стадиально-близкий этнографический материал привлекается с таким трудом? Несомненно, что свою роль тут играет убеждение, что современные или недавние «этнографические» общества отнюдь не являются первобытными. Думается, однако, что с подобным утверждением согласиться никак нельзя. Действительно, перестает ли то или иное общество быть первобытным, конкретно дородовым или родовым, если оно существует в XIX в., т. е. эпоху, когда другие дородовые или родовые общества уже развились в капиталистические? Имеет ли какое-нибудь значение тот факт, что, допустим, австралийские автохтоны проходят дородовой этап на несколько тысяч лет дольше, чем европейцы? Темпы общественного развития ведь на всем земном шаре равномерными не являются. Отдельные общества в силу определенных исторических условий могут очень и очень отставать в своем развитии в определенные периоды времени, что не мешает им в другом периоде догнать и успешно перегнать общества, казалось бы, прочно ставшие передовыми. Так, напр., на известное отставание некоторых народов Африки указывает Ленин в частично уже приведенном высказывании о рабовладельческих обществах.[5] Отметив господство рабства в Европе две тысячи лет тому назад, он замечает, что в Африке «учреждения рабства найдутся и сейчас».

Иногда приходится слышать и другое возражение против привлечения этнографических материалов. Говорят, что все современные, даже самые первобытные народы «тронуты цивилизацией», т. е. подверглись разлагающей эксплуатации европейско-американского капитала. Последнее, несомненно, правильно. Но не надо забывать, что это воздействие ведь во многих местах очень недавнее. Первые европейские поселенцы вступили на почву материка Австралии в 1788 г., а до того австралийцы развивались вне всякого воздействия каких-либо классовых обществ. Естественно также, что воздействие капитализма не сразу разложило туземное общество всего материка. Поэтому сведения, собранные в половине XIX в., а во внутренних, пустынных областях материка и позднее, дают нам ценные материалы по дородовому обществу. Однородны по ценности материалы, собранные на Новой Гвинее и в Океании в первой половине XIX в., а местами и позднее, на северо-западе Америки в то же время и так далее.

Конечно, материалы по народам Сибири, полученные, напр., в конце XIX в. и в XX в., имеют иное значение. Эти народы уже с XVI в., а местами и ранее, подвергались воздействию и эксплуатации со стороны классовых обществ. Понятно, что материалы по подобным народам целиком и безоговорочно не могут быть использованы для характеристики первобытных обществ, хотя несомненно, что они пережиточно сохранили немало архаических черт как в материальном производстве, так и в надстройках.

Научный подход нам указывает Энгельс. Говоря об одной из данных ступеней развития общества, он отмечает, что «австралийцы... и ныне [т. е. в 80-х годах XIX в. *А. Ш.*] находятся на этой ступени». Или, характеризуя одну из более поздних ступеней, он указывает, что многие народы Америки находились на этой ступени «во время европейского завоевания».[1] Энгельс никогда не говорит об австралийцах, ирокезах и т. д. «вообще». Он всегда имеет в виду определенные моменты или периоды их истории, именно те, когда эти народы еще не подвергались разлагающему воздействию капитализма.

Маркс и Энгельс широко пользуются этнографическими материалами для характеристики ранних ступеней развития общества. И, конечно, не может вызвать возражений использование этих материалов для освещения археологических памятников, т. е. подлинных остатков, сохранившихся от этих ступеней развития общества.

При использовании этнографических материалов мы должны учитывать еще один момент. Общественное материальное производство имеет своим объектом природу. Природные условия различных местностей, однако, весьма значительно отличаются друг от друга. В главе XII первого тома «Капитала»» (о разделении труда) Маркс, останавливаясь на возникновении обмена, пишет: «Различные общины [Маркс имеет в виду первобытные общины. *А. Ш.*] находят различные средства производства и различные средства существования среди окружающей их природы. Они различаются поэтому между собой по способу производства, образу жизни и производимым продуктам».[2] Поэтому естественно, что, например, материальное производство родовых общин полярной зоны будет во многих отношениях (материал, орудия, условия труда, рабочие навыки) и т. д. значительно отличаться от материального производства родовых общин, скажем, тропической зоны, а материальное производство родовых общин лесной полосы — от материального производства степных районов, хотя в смысле общественной структуры все эти общества

---

[1] Вышеупомянутая работа С. А. Семенова-Зусера, широко привлекающего этнографические материалы для освещения организации скифского общества, почти одинока в современной литературе по истории позднеархаических обществ. Могут быть отмечены, кроме того, некоторые работы автора, особенно «Жертвенные места Камско-Уральского края» (Известия ГАИМК, т. XIII, вып. 2—3, 1932), где также привлечено много этнографических материалов.

[2] G. Tessman, Die Pangwe, I, 1913, стр. 224 след.

[3] Сообщения ГАИМК, 1931, № 8.

[4] В. И. Ленин, Лекция о государстве, Дешевая библиотека Госиздата, № 158—160, 1930, стр. 12.

[5] См. выше.

[1] Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 5.

[2] Капитал, т. I, 1930, стр. 265.

являются родовыми общинами. При истолковании археологических памятников нельзя, следовательно, не считаться с тем, к какому варианту данного этапа развития первобытного общества они относятся. При объяснении, скажем, технических особенностей того или иного производства или функции того или иного орудия важно, например, учитывать, идет ли речь об обществах, развивающих свое производство в степных условиях или лесных, тропических или полярных. Конкретно, например, так называемые каменные шлифованые топоры или близкие им орудия в Океании служат наконечниками земледельческих орудий, между тем как у обитателей холодной Камчатки такое употребление исключается. Поэтому, скажем, для объяснения материального производства родовых степных общин Евразии эпохи начала так называемого «бронзового века» представляется желательным привлечение материалов по родовым обществам прерий Северной Америки. До сих пор этого не делалось.

Вообще Северная Америка дает благодарный материал для истолкования многих сторон развития первобытного общества в Евразии. Этнография Северной Америки знакомит нас и с обществами, стоящими на стадии позднего дородового общества (северные шошоны, некоторые калифорнийские индейцы), и с родовыми обществами лесных областей (ирокезы, многие алгонкины), и с родовыми обществами степных областей (павни, многие сиу), и с рыболовными родовыми обществами (тлинкиты, гайда северо-запада). Ко времени появления европейцев эти общества пользовались в своем материальном производстве каменными, костяными, деревянными орудиями, и лишь некоторые из них начинали знакомиться с металлом. Следовательно, в Америке мы имеем данные по, можно сказать, живому неолиту и живому энеолиту, употребляя известные археологические термины. При этом материалы относятся к обществам, развивающимся в природных условиях, во многом очень близких к европейским.

На одном конкретном примере постараюсь показать, в каком направлении следует мыслить привлечение американских материалов. Для этого еще раз вернусь к евразийским обществам «эпохи бронзы.» Довольно широко распространены сомнения в земледельческом характере более ранних из них. В доказательство приводят, например, отсутствие земледельческих орудий среди находок и присутствие относительно большего количества костей диких животных, как будто указывающих на преобладающее хозяйственное значение охоты. Но американские материалы указывают, что на данной стадии земледельческие орудия (мотыги, палки) сплошь да рядом бывают целиком деревянные (следовательно, будут отсутствовать в археологических находках), большое же значение охоты, например, за бизоном, отлично совмещается с земледелием, как с основным производством средств существования (напр., у манданов, хидатса и т. д.). Далее американские материалы по индейцам прерий дают нам ключ к пониманию курганного обряда погребения. На данной стадии курганные могилы — это довольно точное воспроизведение круглой землянки, поверх крыши засыпанной землей. Такое жилище было типично для оседлых земледельческих родовых общин американских прерий.[1] Среди историков архаического общества объяснение степных курганов «эпохи бронзы» по линии земляных встречало возражения. Американские данные, несомненно, подкрепляют это объяснение, принося таким образом немалую помощь в понимании конкретных условий развития степных родовых обществ «эпохи бронзы», известных только по фрагментарным археологическим источникам, которые не передают всего многообразия живой действительности.

Можно ли из вышеизложенного делать вывод о неправильности использования стадиально более поздних этнографических материалов для освещения тех или иных археологических памятников? Нет, конечно, такого вывода делать нельзя. Материалы родового общества, например, несомненно дают немало для понимания более ранних стадий. Особенно это касается надстроек. Методологическая сторона использования идеологической надстройки при изучении базиса недавно освещена С. Н. Быковским.[1] Но здесь уместно, вслед за С. Н. Быковским, вспомнить некоторые мысли Маркса. В «К критике политической экономии» Маркс пишет: «Буржуазное общество есть наиболее развитая и многосторонняя историческая организация производства. Категории, выражающие его отношения, понимание его организации, позволяют вместе с тем проникнуть в строение и производственных отношений всех отживших общественных форм, из обломков элементов которых оно строится, продолжая частью влачить за собой их остатки, которые оно не успело преодолеть, частью развивая до полного значения то, что прежде имелось лишь в виде намека». И далее: «Так как буржуазное общество само есть только антагонистическая форма развития, то отношения предшествующих формаций встречаются в нем часто лишь в выродившемся или даже замаскированном виде, как, например, общинная собственность».[2]

Эти отношения, как говорит Маркс, «могут содержаться в ней (т. е. в буржуазной экономике. *А. Ш.*) в развитом, в искаженном, в карикатурном, во всяком случае в существенно измененном виде». Следовательно, например, этнографические материалы классовых формаций могут дать «существенно измененное» или даже «искаженное» представление о доклассовых стадиях данных обществ, а материалы, скажем, по родовым обществам — «существенно измененное» представлении о дородовых обществах. Задача исследователя, подходя с этой точки зрения к материалу, выявить данные, позволяющие получить правильные сведения о предшествующем периоде общественного развития. Следует помнить, что мы в подобных случаях имеем дело с пережитками и что пережитки ни в каком случае не воспроизводят точной картины прошлого.

Конкретно, например, русская деревенская община XIX—XX вв. хотя и сохранила известные черты первобытной общины, тем не менее ни в каком случае и ни в каком отношении, в частности и в области материального производства, не представляет собой ту доклассовую общину, которая существовала в Восточной Европе перед образованием русского государства.

Четкую установку мы находим у Ленина. О русской крестьянской общине он пишет: «Вопреки теориям, господствующим у нас в последние полвека, русское общинное крестьянство — не антагонист капитала, а, наоборот, самая глубокая и самая прочная основа его». И далее: «самая прочная потому, что на земледелии вообще и на крестьянстве в особенности тяготеют с наибольшей силой традиции старины, традиции патриархального быта, а вследствие этого — преобразующее действие капитализма... проявляется здесь с наибольшей медленностью и постепенностью».[3] Таким образом, русская община в эпоху капитализма стала «самой глубокой и самой прочной осно-

■

[1] Hodge, ук. соч., I, стр. 410.

■

[1] Сообщения ГАИМК, 1931, № 8.

[2] Маркс, К критике политической экономии, 1928, стр. 42.

[3] Ленин, Собр. соч., т. III, стр. 125 (третье издание).

вой его», следовательно, утратила уже свой первобытный характер. Но, тем не менее, в ней сохраняются, над ней «тяготеют с наибольшей силой [чем в других сторонах капиталистического русского общества конца XIX в. *А. Ш.*] традиции старины, традиции *патриархального* [курсив мой. *А. Ш.*] быта». Каждый исследователь истории материального производства, привлекающий материалы русской деревни, должен не забывать, что эти слова Ленина, конечно, относятся не только к производственным отношениям, а охватывают все единство развития материального производства и общественных отношений. В русской деревне, таким образом, сохраняются, несомненно, архаические черты патриархального быта. Они еще далеко не достаточно выявлены в своем генезисе. И в рыболовстве, и в охоте, и в земледелии там и здесь найдутся черты, связанные с доклассовыми эпохами развития восточноевропейских обществ. Увязка этих черт с тем или иным этапом общественного развития находится еще в младенческом состоянии. Но некоторые работы, вроде изысканий, проведенных П. Н. Третьяковым и доложенных в земледельческой группе Архаического сектора Гос. академии истории материальной культуры в конце 1931 г., показывают нам открывающиеся здесь перспективы для истории материального производства. Необходимо только, повторяю, ни на минуту не забывать и об существенной измененности и даже «искаженности» сохранившегося до конца XIX, начала XX в.

В заключение следует подчеркнуть, что установление стадиальной принадлежности тех или иных археологических комплексов, их «социальная датировка», если можно так выразиться, тесно связанная с использованием этнографического материала, требует, конечно, серьезной работы по линии пересмотра археологического «наследства». Иной раз данные в этом направлении окажутся недостаточными. Несомненно, потребуются новые изыскания, новые раскопки. Но огульное заявление о недостаточности имеющихся материалов поведет непременно на путь к своеобразному агностицизму, столь характерному для некоторых направлений старой русской археологии. Необходимо помнить, что вещи и особенно орудия труда являются «показателями общественных отношений», что историку первобытного общества, как указывает Маркс, часто приходится поступать подобно палеонтологам, по одной кости восстанавливающим организацию исчезнувших животных. [1] Марксова мысль, что ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, а паровая мельница — общество с промышленным капиталистом, [2] имеет широкое значение и приложима, конечно, не только к мельницам и не только к феодальному или капиталистическому обществам.

■

[1] Капитал, т. I, 1930, стр. 121.
[2] К. Маркс, Нищета философии, 1931 г., стр. 103.

А. М. Золотарев

Кардинал Шмидт и Отмар Шпанн

(К вопросу о классовых корнях культурно-исторической школы)

Изучение первобытного общества начало приобретать известную самостоятельность в 60 — 70-х годах прошлого столетия. Труды Бахофена, Моргана, Леббока, Тейлора, составившие эпоху, выделили и выдвинули новый круг идей и вопросов, разрешение которых не требовало, однако, никаких особых, от общей истории отличных методов. Для всех этих авторов история первобытного человечества была лишь предысторией, ничем принципиально не отличавшейся от истории «писаной». Но уже труды Бастиана и Ратцеля, несмотря на внешнюю противоположность названных авторов поставили вопрос на иную почву. Возникла необходимость создания каких-то особых «этнографических методов» изучения Naturvölker, каких-то особых приемов, существенно отличных от применяемых исторической методологией. Хотя Ратцель говорит о «всеобщей истории культуры», но тут же добавляет, что историческое изучение должно итти рука об руку с *географическим*. В этом уравнении прав географии с историей мы видим первые зародыши развившегося впоследствии полного отрицания истории. Совершенно не случайно Ратцель выпячивает проблему *заимствования*, интересуясь больше пространственными взаимоотношениями отдельных культурных элементов, а не их хронологической перспективой. Именно в этом ратцелевском аисторизме следует искать зачатки столь модной ныне культурно-исторической школы.

Несмотря на то, что Ратцель, насколько мы знаем, нигде и никогда не полемизировал с представителями эволюционизма, напротив, очень часто ссылался на их работы, тем не менее он объективно направлял молодую еще в то время науку — народоведение или этнографию — на а- и, следовательно, антиисторический путь.

Но в его время борьба с эволюционизмом не могла еще развернуться в полном объеме в силу целого ряда социальных причин. Прогрессивное развитие буржуазии, породившей Моргана и Тейлора, еще не закончилось. Капитализм еще не вступил в свой последний этап и, следовательно, еще не выполнил до конца свою историческую миссию. Производительные силы еще не получили максимального развития, а поскольку «призрак коммунизма» еще не успел превратиться в реальную действительность, поскольку отсутствовало ощущение неизбежного конца, постольку буржуазная наука еще не потеряла видимости «объективности». Буржуазный ученый не смел еще выступать как открытый политик, он рядился в тогу «беспартийности» и «надклассовости», проповедывал «объективизм» и в той или иной степени должен был считаться с фактами. Время откровенной апологетики еще не пришло. Не пришло еще и время для построения законченной антиисторической системы. Поэтому реакция против эволюционизма носила первоначально характер робких, кустарно выполненных работ, в основе которых не лежало какой-либо законченной системы. Собирая груды фактов, Гильдебрандт, Гроссе, Старке, Вестермарк — даже не в состоянии их обработать сколько-нибудь единообразно и просто сваливают в одну кучу совершенно различные явления. Тут нельзя не вспомнить убийственной характеристики, данной этому, с позволения сказать, «методу» более тонким буржуазным ученым Куновым: «его [Вестермарка] метод состоял в том, что он и его помощники выписывали из всевозможных этнографических трудов те замечания, которые относились к брачным отношениям какого-либо народа затем эти замечания разносились по определенным рубрикам... и из каждого такого отряда заметок выводился научный итог. При этом Вестермарку было решительно все равно, насколько авторы, у которых он берет цитаты, мало или ничего не понимают в этом трудном вопросе и не придают ли они употребляемым ими

специальным терминам другой смысл, чем прочие этнографы. На таких мелочах не задерживается великий синтетический дух Вестермарка. Один из цитируемых авторов говорит в соответствующем месте об отдельной семье, другой — о большой семье, третий — о так называемой тотемической семье, — на это Вестермарк не смотрит. Семья есть семья, и без замедления все эти заметки поступают в ящик с наклеенной этикеткой «семья». Понятно, — добавляет Кунов, — какая блестящая бессмыслица должна была возникнуть при этом синтетическом ящичном методе». [1]

И хотя книга дотоле неизвестного Вестермарка сразу же получила широчайшее распространение среди буржуазных читателей, хотя Вестермарк был признан буржуазным миром корифеем антиэволюционизма, в соответствии с чем сразу же получил кафедру в Лондоне, его «методы» с точки зрения буржуазной науки были все же недостаточны. В противовес стройной, методологически философской, исторически завершенной «системе» марксизма, использовавшей в своих целях и прежде всего, конечно, в практических целях научного обоснования рабочего движения положительные достижения эволюционистской школы, для буржуазии оказалось необходимым противопоставить в определенный момент также законченную свою систему историографии, обоснованную как «методологически», так и «фактически», систему, которая под маской историзма уничтожила бы историю, под флагом борьбы с эволюционизмом обосновывала бы вечность капитализма. Такую систему создала в конце прошлого столетия так называемая культурно-историческая школа.

Капитализм вступил в свою последнюю фазу. Окончился раздел мира между великими державами. Капиталы потекли в колонии непрерывным потоком, принося огромные сверхприбыли. Промышленность срослась с банками. Начался процесс загнивания капитализма. Производственные отношения превратились в непреодолимую преграду развития производительных сил. Историческая миссия капитализма закончилась. Теперь он тормозил колесо истории. Вместе с тем обострилась классовая борьба. Ее развертывание требовало наступательного орудия. Век «объективизма» миновал. Университетские кафедры заняли откровенные апологеты. В такой обстановке выступала культурно-историческая школа. На рубеже столетий выходят в свет работы Гребнера и Шмидта, закладывающие методологический фундамент и дающие первые фактические разработки учения о культурных кругах.

«Основная ошибка эволюционного метода заключалась в том, что он изображал развитие человечества как совершенно разнозначный процесс», пишет Шмидт. «В действительности оно идет многообразными путями». [2] «Фактически мы видим все ясней и ясней, что культурные формы примитивных народов представляют собою не фазы, но многочисленные разнообразные пути развития», утверждает Гребнер. [3] Эти разнообразные варианты фиксируются в понятии культурного круга. Тщетно было бы искать точного определения в работах Гребнера, Шмидта, Копперса, Анкермана и других последователей этого понятия. «Культурный круг» это нечто весьма неопределенное, какое-то сочетание культурных элементов, например, лука со стрелами и материнского права, бумеранга и отцовского права, сочетание, имеющее статический, неподвижный, окостенелый характер. Внутренняя, каузальная связь этих элементов никем не прослеживается и никого не интересует. Важен факт их совместного постоянного соединения. Именно как таковое оно возводится в «научное понятие» и преподносится как культурный круг. Для этого необходимы только два условия: 1) связь должна быть постоянной и, 2) что особенно важно, неизменной. Если культура лука переселилась из Азии в Океанию, то вместе с луком, как некая окаменелость, двигалось материнское право. Ничего не пропало, ничего не прибавилось. Изменилось только географическое размещение «культурных кругов». Получаемую картину лучше всего формулировать словами русского последователя Шмидта П. Ф. Преображенского: «на массиве азиатского континента в различных местах одна за другой зарождались десятки различных культур и сползли вниз, распространяясь таким образом по краям обитаемой суши. Не надо думать, что все эти культуры представляют собою вполне последовательную лестницу развития. Каждая из них развивалась на своей азиатской прародине, отчасти независимо от предыдущих». [1] Автор цитированных строк, с умилением отзывающийся о трудах «новой этнологической школы», не видит реакционности и нелепости всего построения, в основе которого лежит отрицание развития вообще. Изначально возникшие самостоятельные культуры продолжали вести изолированное существование, лишь изредка наползая друг на друга, что приводило к образованию смешанных кругов. Развитие внутри круга невозможно, ибо могут изменяться только детали, но логическая координация элементов остается неизменной. Иначе круг перестает быть самим собой.

Культурно-историческая школа имела своей задачей борьбу с эволюционизмом. Она выступила *с отрицанием всякой эволюции*. Эволюционизм был одиозен постольку, поскольку, логически развитый, он приводил к рассмотрению буржуазной собственности как исторически преходящей формы производства, т. е. к диалектике. Этот неизбежный логический вывод осознавали далеко не все представители эволюционизма. Но его обосновал и начертал на своем щите научный социализм. *Культурно-историческая школа выступила на борьбу с социализмом.* Первую главу предназначенной для широкого читателя работы «Начало человеческой общественной жизни в зеркале современного народоведения» [2] Вильгельм Копперс озаглавил: «Современное народоведение и научные основы социализма». Он подчеркивает тесную связь научного социализма с эволюционистским направлением в этнографии и изо всех сил старается подорвать ценность последнего. Этим самым он надеется выбить научный базис из-под ног рабочего движения. Маркс и Энгельс утверждали, что у истоков общественного развития был первобытный коммунизм с коллективной собственностью на средства производства, с коллективными процессами труда, широкими формами полового общения, отсутствием моногамной семьи и частной собственности. Шмидт и Копперс лезут из кожи вон, чтобы доказать противное. «Несомненно, не культура произвела моногамию, — цитирует Бундта Шмидт, — но эта последняя сама была предисловием культуры». «В моногамном индивидуальном браке необходимо видеть первобытную мораль, с которой человек вступает в культуру». [3] С этой точки зрения, бывают двоякого рода союзы: либо основанные на

[1] Г. Кунов, Происхождение брака и семьи, 1926, стр. 36 — 37.
[2] P. W. Schmidt, Die Familie, Handbuch der Staatswissenschaft.
[3] F. Graebner, Weltbild der Primitiven, 1925.

[1] П. Ф. Преображенский, Курс этнологии, 1929, стр. 26.
[2] Die Anfänge des menschlichen Gemeinschaftslebens in Spiegel der neuen Völkerkunde, 1921.
[3] Schmidt Die Familie. Handbuch der Staatswissenschaft. W. Wundt, Völkerpsychologie, т. VII, стр. 208, 206, 164.

взаимной симпатии членов, или на цели, с которой объединяются эти члены. Семья принадлежит к первому виду, в то время как государство является союзом для цели. «Не государство, но семья была первой в общественном развитии; ее право древнее, ибо она есть колыбель всего общественного развития человечества и вместе с тем и государства».[1]

Было бы неправильно, рассуждают эти буржуазные ученые, характеризовать также первобытное общество как коммунистическое. Там с самого начала существует частная собственность. Если можно говорить о коммунизме, то только коммунизме семейном: «Факты показывают, что никакого первобытного коммунизма, точно также как никакого индивидуального собирательства не было, но было нечто третье — вполне нормальный семейный коммунизм первобытных народов».[2] Наиболее примитивными из числа современных Naturvölker являются пигмеи и негроиды, обитающие в центральной Африке, южной Азии, на некоторых островах Зондского архипелага и Новой Гвинее. Они характеризуются моногамной семьей, сильно развитым представлением о частной собственности, верой в единого бога, необычайно «высокой», чисто католической моралью. Именно эти не знающие камня, живущие еще в деревянном веке племена пигмеев рисуют действительную картину жизни первобытного человечества. В дальнейшем движении их культура соприкасается с вторичными и третичными кругами и теряет свой первоначальный этический и моральный характер. Правда, Фрезер, Хартланд и др. собрали целый ряд свидетельств о половых союзах между близкими родственниками, но «этот скабрезный список должен доказать еще свою ценность на фактах; ни в одной области не основываются в такой мере на слухах, как здесь, и ревностно сплетенная скандалезная хроника с ее грубостью (Vergröberung) и клеветой (Verleumdung) преподносится нам для примитивных народов».[3] Напротив того, у них Шмидт «находит» все, что полагается доброму католику: частную собственность, моногамную семью и единого бога. Нехватает только... святого отца... Но римская церковь спешит восполнить этот пробел. Борясь с социализмом, теоретически стараясь доказать вечность и «первобытность» основных устоев капитализма, католические этнологи и сотни миссионеров-католиков, располагающих громадными средствами, проникают ad majorem gloriam Dei в самые отдаленные уголки земли. Вслед за торговцем всюду следует миссионер и лишь затем этнограф. Католические миссии работают в центральной Африке среди пигмеев, на Огненной Земле, среди оно и алкалуфов центральной Австралии, среди аранда и луриджа на Малакке и Борнео, среди семангов, сеноев и кубу в Меланезии и на Новой Гвинее, одним словом, всюду, где это только представляется возможным. Они являются первыми источниками наших сведений о многочисленных малоизвестных племенах, подтасовывая факты и подавая их в христианизированном виде. Кардинал Шмидт оказывается монополистом этих «научных» данных, изготовляемых по его заказу и требованию. Он их полностью использует в борьбе с коммунизмом.

Миссионеры не только стараются доказать, что вера в единого бога изначальна, но также, что она неизменна и что ее всегда можно открыть под тем или иным культурным напластованием. В последнее время они трудятся над созданием так называемого «религиозного народоведения», задачей которого и является доказательство неизменности божественного постулата. Проповедуя откровенный обскурантизм, они справедливо утверждают, что культура враг религии. Один из вождей этого движения, прочитавший по особому поручению папы Пия XI на пятой религиозно-этнологической неделе в Люксембурге доклад на тему о религиозном народоведении, говорил следующее: «Величайшим врагом этой религиозной устойчивости является современная высокая культура. Многое приносится ей в жертву, многое безвозвратно погибает, но что действительно для религиозного народоведения, то действительно также для народоведения, то действительно также для народности вообще. Возможно, случается, что старые формы лежат в развалинах, так что оказывается невозможным удержать течение вещей. Но задачей каждого, кто хочет извлечь из религиозного народоведения пользу для церковной практики, будет влить старое в новые формы — так, чтобы дух жизненной веры не погиб и новые цветы вечной святости продолжали бы расти».[1] Ученый теолог хочет сказать, во-первых, что религиозные элементы постоянны, стабильны сами по себе и только развитие культуры разрушает их. Отсюда он делает вывод, что задачей всех тех, «кто хочет извлечь пользу для церковной практики», является насаждение религиозности в «новые», созданные «высокой культурой» формы, короче говоря — борьба с этими формами, а, следовательно, и с «высокой культурой» в интересах «вечной святости». Назад к средневековью, к «постоянным» (?) элементам народной (?) религиозности! Борьба с культурой и прогрессом! Это как раз то, что проповедуют модные теоретики современной буржуазии вроде Чейза: долой машину, долой культуру, долой науку, да здравствует религия!

Второй вывод ученого теолога как раз говорит об этом: то, что действительно для религиозного народоведения, то действительно для народоведения вообще. Последнее должно подчиниться тем же религиозным интересам, религиозному народоведению, определенному тем же автор омкак «практическая теология».

Помещая эту статью в «Anthropos», редакция (т. е. те же Шмидт и Копперс) замечает, что считает ее чрезвычайно важной для текущего момента. Если в первые годы своих выступлений культурно-историческая школа сравнительно мало говорила о своей связи с католицизмом, то теперь она прямо выступает в качестве служанки «практической теологии», подчиняя свою работу интересам церкви, объявляя примат религии над наукой, т. е. в конечном счете ликвидацию этой последней. Необходимость столь откровенной апологетики обусловлена социально-классовыми отношениями сегодняшнего дня. Возникновение культурно-исторической школы хронологически совпадает с переходом капитализма из классического периода в период империализма. Это совпадение отнюдь не случайно. Мы полагаем, что культурно-историческая школа отражает идеологию буржуазии империалистического периода. Более того, наше положение дает возможность утверждать, что она отражает интересы наиболее *реакционной части* этой буржуазии. На самом деле, чем более откровенным апологетом выступает культурно-историческая школа, тем большим успехом она пользуется. Первоначально встреченная весьма холодно, она все больше и все полнее раскрывала свои апологетические установки и по мере обострения классовой борьбы и вызванного им поправения буржуазии получает все большее и большее признание. Любопытно, что крупнейший английский социолог и этнолог Риверс, в начале своей деятельности

[1] Ср. аналогичные высказывания Б. Малиновского «Sex and repression in Savage society». См. мою рецензию в журнале «Под знаменем марксизма», 1930, № 7—8.
[2] Koppers, Die Anfänge... стр. 90.
[3] Schmidt u. Koppers, Völker und Kulturen, 1925, стр. 156—157.

[1] Anthropos, 1931, вып. 1 — 2, стр. 298.

выступавший в общем как ученик Моргана, в 1913 г. пытался синтезировать эволюционизм и учение о культурных кругах.

Послевоенный период, период не только империализма, но и пролетарской революции, с его совершенно новой ситуацией, с крайним обострением классовой борьбы (класс против класса) создал в буржуазно-капиталистическом обществе благодатную почву для деятельности Шмидта и его учеников. Чрезвычайно показательным является то, что Шмидт выступает теперь непосредственно на политической арене. В напечатанной в фашистском журнале «Nationalwirtschaft» статье «Эдипов комплекс и мораль большевизма» он выступает с прямой клеветой на Советский Союз, оправдывая этот выход из заоблачной сферы «чистой науки» следующим образом: «Не думаю, что, обсуждая большевистское сексуальное право, я сделал бы дегрессию, которая отвлекла бы меня от темы. Учитывать те последствия для культуры, которые та или иная теория может повлечь за собой, это имеет прямое отношение к делу, тем более, когда эти последствия действительно осуществляются. Если же я перешел границы академического тона, то ставлю себе это только в плюс. Ибо кто может сохранить академическое спокойствие на краю пропасти, к которой приводят нас Советы. Чем объяснить, что остальная Европа и Америка относятся так равнодушно к этим ужасающим фактам Востока, прекрасно зная при этом, что в их собственной среде рьяно работают над осуществлением подобных целей».[1] Потеряв на краю пропасти академическое спокойствие, Шмидт выступает с призывом к «священной войне» против СССР. И тут, как и в ряде других моментов, он протягивает руку кровавому фашизму.

Последний тоже имеет свою «теорию» и своих «теоретиков». Первым среди равных является Отмар Шпанн, официальный социолог фашизма. Заняв после Менгера и Бем-Баверка в Венском университете кафедру политической экономии, он выступил с универсалистической системой, возводящей всеобщее и духовное в абсолют. Утверждая, что целое предшествует части, он понимает это не каузально, а универсалистически. Он борется вообще против понятия причинности. «Nicht causa sondern rationes beherrschen die Welt», восклицает Шпанн. В статье, напечатанной в юбилейном сборнике, посвященном 60-летию Шмидта, он утверждает, что существуют два понимания истории: натуралистическое и идеалистическое. Первое, берущее свое начало от софистов, эпикурейцев, номиналистов, Декарта, Локка, Юма, Гоббса, Фергюсона, Вольтера, Тюрго, Конта и идущее к Марксу, характеризуется «механистическим», «атомистическим» подходом и находит свое высшее выражение в анархизме (поэтому, по Шпанну, марксизм = анархизму).[2] Второе берет свое начало от Фихте, Гегеля, Адама Мюллера; оно преодолевает «индивидуалистический», «каузально-механистический» подход и потому является единственным истинным. Свое высшее завершение оно находит в работах Шпанна, ведущего непримиримую борьбу с «механистическими индивидуалистическими» течениями вообще и марксизмом в особенности. Свои возражения Марксу Отмар Шпанн резюмирует следующим весьма забавным образом: «и, кроме всего прочего, находит здесь [среди сравнительно-исторической школы. *А. З.*] свое место известный (!) исторический материализм Карла Маркса, который, со своим механистически-каузальным соединением общественных элементов, среди которых хозяйство является единственным первичным, с одной стороны представляет собой учение об обществе, с другой стороны является исторической философией, в которой при помощи той же самой механики (через мнимые механистические изменения хозяйства и, между прочим, через закон «концентрации») происходит полноценное развитие к коммунизму. Как методологически, так и по содержанию столь примитивная теория, как эта, на наш век влияния не имеет [(?) О чем же тогда волнуется господин Шпанн? *А. З.*]. Методически: поскольку простое механистически каузальное движение не имеет ни смысла, ни направления. По содержанию: поскольку закон концентрации, как всеохватывающий, основан на осязательной ошибке. По-человечески, наконец: кто отрешает дух и возводит на трон материально-хозяйственное, кто не чувствует духовных сил жизни и истории, тот низко пал».[1] Говоря словами Шпанна: методически — это чистейшее мракобесие, по содержанию — невежество, по-человечески — не стоит на этом останавливаться, тем более, что Шпанн, явно ничего не понявший у Маркса, сам выдает секрет своего негодования. Ему, оказывается, не нравится «закон концентрации», тот самый «закон», на который в свое время ополчился Бернштейн. И хотя этот «закон» основан на «осязаемой ошибке» (какой? — Шпанн благоразумно умалчивает), все развитие капитализма и в особенности всеобщий кризис целиком его подтверждают. Шпанн стремится доказать вечность капитализма. Поэтому его больше всего пугает всеобщий закон капиталистического накопления, формулирующий неизбежность гибели буржуазного общества.

«Исторический материализм К. Маркс, — восклицает Шпанн, — имеет в основе своей варварское, т. е. враждебное духу и культуре мышление. Исторический материализм есть система, внутренно обесценивающая благороднейшие продукты культуры, науки, искусства, религии, морали, поскольку она рассматривает их просто как рефлекс или надстройку хозяйственного процесса».[2] Шпанн ошибается. Марксизм обесценивает «благороднейшие продукты культуры», не сводя их к безисным отношениям, но вскрывая их классовую, буржуазную сущность. То, что для Шпанна есть абсолют, универсальная ценность, для нас есть только исторически-преходящий, классово обусловленный феномен. Если для Шпанна семья есть основа человеческой культуры, то для Маркса — она лишь продукт антагонистического общества. Именно поэтому Шпанн, универсализирующий капитализм до nec plus ultra, решительно возражает против характеристики первобытного общества, данной марксизмом. «Согласно старому, теперь только умышленно поддерживаемому марксистами течению, первобытное общество характеризуется первобытным коммунизмом, половым промискуитетом, безгосударственностью, отсутствием собственности и семьи... Эта пустая конструкция сегодня настолько основательно всеми забыта, что следующие четыре капитальных труда в научном отношении целиком принадлежит прошлому».[3] И Шпанн называет Моргана, Бахофена, Энгельса и Бебеля! Зато совсем иначе теоретик фашизма относится к культурно-исторической школе. Понося эволюционизм, он выделяет культурно-историческую школу как лишенную недостатков, свойственных этому первому. В статье, посвященной Шмидту, он пишет: «Особой заслугой юбиляра этого сборника (также как его сотрудника В. Копперса) является то, что он в союзе с Копперсом не просто рассматривал, как это до сих пор делалось, народоведение как чисто опытную науку, но плано-

[1] Цитирую по И. Винникову «Комплекс Эдипа на службе буржуазии», «Проблемы марксизма», № 5—6, 1931.

[2] Gesellschaftslehre, стр. 61.

[1] Gesellschaftslehre, стр. 21.

[2] Там же, стр. 147.

[3] Там же, стр. 19.

мерно искал его связи с учением об обществе. Это произошло особенно со Шмидтом, который сделал это в форме защиты истинного познания, предпринятой им при преодолении исходных точек дарвинистско-эволюционистского учения в народоведении. Но, кроме того, без сомнения, необходима не только защита натуралистических основоположений, необходимо также творческое построение на основе не эволюционистского, т. е. идеалистического, учения об обществе». [1]

Выполнили ли наши патеры эту последнюю, теоретиком фашизма прокламируемую задачу? Оказывается, не совсем, не до конца. Оказывается, что Шмидт и Копперс впали в «уклон» и притом ужасного свойства. Теоретически они преодолели «каузально-механистическую» трактовку исторического процесса, но практически это им не всегда удается. Местами они прямо «падают низко», «возводя материально-хозяйственное на трон». «В первичном культурном круге, — пишет Шмидт, — точно также как у номадов, хозяйственные отношения в далеко идущей степени определяют социальные формы и находятся с ними в такой связи, которая делает последние несравненно более понятными». [2] То же самое подчеркивает Копперс, характеризуя формирование первобытной семьи первобытного общества, основанного в значительной степени на хозяйственных потребностях. [3] Точно также, по мнению Шмидта и Копперса, в основе тотемического культурного круга лежит особая форма хозяйства. [4] Наконец, по их мнению, и материнское право имеет «свои хозяйственные предпосылки и основания. [5]

Не трудно понять, как это случилось с почтенными патерами, что они пришли к таким «еретическим» выводам. Несомненно, оба, и в особенности Шмидт, являются крупными учеными, владеющими большим фактическим материалом. Оба они не могли пройти мимо эмпирически осязаемого факта тесной обусловленности социальных форм хозяйственными отношениями и они отразили его как в приведенных выше формулировках, так и в ряде других мест. Тут, против их собственной воли выступает примитивный, половинчатый, стихийный, но все-таки материализм. Это верным взором разглядел теоретик фашизма и в «kölner Vierteljahrshefte für Soziologie» он пишет статью, в которой обвиняет наших патеров в том, что они в названных выше вопросах «по уши погрязли в дарвинистически-эволюционистическом материализме». Правда, тут виноваты факты, а факты, как известно, упрямая вещь, но Отмар Шпанн презирает факты. Ему нужно построить законченное идеалистическое учение об обществе, которое дало бы возможность преодолеть «варварский марксизм».

Итак, кардинал Шмидт по уши погряз в дарвинистически-эволюционистически-материалистическом болоте. Картинка, согласитесь, пикантная. И ученые теологи спешат замять скандал в благородном семействе.

В том же юбилейном сборнике доктор теологии и философии Леопольд Вальк печатает статью «Der Kasualitätsbegriff bei Schmidt — Koppers u. Othmar Spann», посвященную этому щекотливому инциденту. Он хочет доказать, что противоположность между Шпанном и Шмидтом чисто внешняя, она не носит принципиального характера и легко примирима. Оказывается, что в полном соответствии с требованиями идеалистической историографии Шмидт определяет культуры как «развитие духа и через дух осуществляемую внешнюю деятельность людей». [1] Шмидт и Копперс полагают, что культурные явления не обусловлены каузально-механистически. «Культурные явления в первую голову и в наибольшей степени определяются человеческим духом». Так что, пожалуй, Шпанн перегнул палку, пожалуй, он зря пришил кардиналу материалистический уклон. Правда... кое-какие основания у него были, но он не всегда точно понимал Шмидта. В сущности говоря, глубокой принципиальной разницы между Шмидтом и Шпанном нет. Они оба стоят на последовательно-идеалистической точке зрения и они оба не менее последовательно борются с материализмом. Разногласия же между ними преувеличены. Этим инцидент исчерпан, и свастика и крест, имеющие общее происхождение, сливаются снова в целях общей борьбы с коммунизмом.

Но урок, данный Шпанном, не проходит даром, и Вильгельм Копперс в последнем номере «Anthropos», восторженно отзываясь о новой работе Менгина, в то же время отмечает ошибочное (?) определение всемирной истории как науки о причинных связях общественных явлений. Причинная точка зрения к общественным явлениям, мол, не применима. Итак, «уклон» исправлен.

В условиях всеобщего кризиса, «на краю пропасти», к которой «завлекли» капиталистический мир Советы, буржуазные теоретики мобилизуют все силы: философы, социологи, историки, этнологи, экономисты единодушно стараются доказать и обосновать вечность капитализма и невозможность коммунизма. Но время кабинетных теорий прошло. И ученый «нисходит» до непосредственного участия в классовой борьбе. «Ученые», попы, фашисты — образуют единый фронт, практически и теоретически борющийся с коммунизмом. Более 80 лет тому назад Маркс писал: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Для священной травли этого призрака соединились все силы старой Европы — папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». С тех пор коммунизм перестал быть призраком, он реально существует в одной шестой мира. Нет уже больше царя, Меттерниха и Гизо. Но все же слова Маркса остаются в силе: для священной травли коммунизма соединились все силы старой Европы — папа и фашисты, социал-демократы и католики, французские радикалы и немецкие полицейские. Средствами этой травли служат не только бомбы, пулеметы и тюрьмы, но и «ученые» писания профессоров, попов, кардиналов. Наука откровенно выступает в качестве служанки фашизма.

На этом мы, собственно, можем закончить. Наш очерк, вскрывая классовые корни культурно-исторической школы, показывая ее тесную связь с религией с одной стороны и фашизмом с другой, обнаруживая ее антимарксистский, антипролетарский телеологизм, не только предостерегает советских ученых от излишнего увлечения модными теориями культурных кругов, [2] но и ставит перед ними задачу беспощадной методологической, логической и классовой критики «теоретических» построений наших классовых врагов.

■

[1] O. Spann, Naturalistische und Gesellschaftslehre. Festschrift gewidmet P. W. Schmidt, стр. 578.
[2] Völker und Kulturen, стр. 253.
[3] Там же, стр. 496.
[4] Там же, стр. 253.
[5] Там же, стр. 198. Все четыре последних цитаты приведены по статье Walk'a в «Festschrift gewidmet P. W. Schmidt».

[1] Völker und Kulturen, стр. 25.
[2] Так, совершенно неприемлимой является характеристика построений Менгина, данная Б. Л. Богаевским в статье «Доистория и этнология в работах проф. О. Менгина» («Человек», № 2 — 4, 1928). Нельзя также признать удовлетворительной критику культурно-исторической школы, данную проф. Никольским в его статьях в «Вестнике Социалистической Академии» (№ 4, 1923 г.), где почти совершенно обойден вопрос о классовой природе этого направления.

А. Н. Бернштам

Идеализм в этнографии

(Руденко и руденковщина)

> В борьбе с моими противниками, в борьбе с теми, кого я ненавижу, я полезу повсюду и, если противник запрячется в археологию, я изучу археологию и археологией поколочу его.
>
> *Лессинг.*

Азбукой марксизма-ленинизма стало для нас положение, что нет ни одной области человеческого знания, где бы не было отражено классовое лицо исследователя. Методология каждого ученого исследователя тесно связана с практикой борьбы того класса, представителем которого исследователь является. В этом отношении самый махровый идеализм, как фихтеанство, берклианство, махизм и т. п. разновидности субъективизма, является, при всем своем многообразии, лишь наукообразным покровом буржуазного ученого. Все разновидности идеализма представляют методологию буржуазии, особенно сильно проявляя себя на последнем этапе капитализма — в эпоху империализма. Различные так называемые «теории» буржуазных ученых ведут, хотя и разными путями, к одной и той же цели — к оправданию капиталистической системы. Появляются целые системы «научных дисциплин», помогающих изучить и обосновать рост капитализма и его проникновение в колонии.

Ныне открытые защитники фашистской системы капитализма социал-демократы Кунов (Германия) и Ван-Коль (Голландия) еще в 1907 г. на конгрессе II Интернационала выступили против Ленина, доказывая, что развитие капитализма в колониальных странах следует поощрять, ибо он создает необходимую революционную ситуацию. Примиренчество с буржуазией вместо революционной борьбы, отказ от революционного марксизма, уступка сладенькому мещанскому каутскианству — реформаторству в пределах капиталистических рамок — таковы были устремления социал-демократов, жестоко разбитые еще Лениным, но отнюдь ими не оставленные и последовательно развившиеся в откровенную защиту фашизма в капиталистических странах.

Работы С. И. Руденко надо квалифицировать как типичную деятельность «ученого», своими интересами связанного с буржуазией эпохи империализма. Это можно проследить по его последним работам. Для того чтобы нам яснее стало развитие взглядов С. И. Руденко именно в эту сторону, придется кратко остановиться на смене основных методов и систем научной мысли, которые пережил Запад и которые были отражены в трудах «отечественных ученых», достойно исполнявших обязанности верных слуг капитализма. Научная деятельность С. И. Руденко является типичным «зеркалом» этого западноевропейского «прогресса» буржуазной науки.

Промышленный переворот, заря капиталистического расцвета, определил собой перелом в научной мысли. Ломка феодального строя, борьба против застойности, схоластики, борьба против всех феодальных оков производительных сил, оков как материальных, так и идеологических, вызвала к жизни ряд новых течений и теорий. Рост производительных сил требовал смены производственных отношений. Появились пролетарий и буржуа. Сложилась новая экономическая система.

В процессе и в особенности в результате буржуазной революции произошла смена идеологических установок. Богословие, метафизика, схоластика феодализма уступают место в корне отличным от них учениям. Энгельс характеризует рост буржуазной науки по сравнению с феодализмом на примере естествознания: «Современное естествознание, — единственное, о котором может итти речь (как о науке), — в противоположность гениальным догадкам греков и спорадическим, случайным исследованиям арабов, — начинается с той грандиозной эпохи, когда буржуазия сломила мощь феодализма, когда на заднем плане между горожанами и феодальным дворянством показалось мятежное крестьянство, а за ним революционные пионеры современного пролетариата, с красным знаменем в руке и с коммунизмом на устах, — начинается с той эпохи, которая создала монархии Европы, разрушила духовную диктатуру папства, воскресила греческую древность и вместе с ней высочайшее развитие искусства в новое время, которое разбило границы старого мира (orbis) и впервые, собственно говоря, открыло землю (оно революционно, как и вся эта эпоха)».[1]

Энгельс неоднократно подчеркивает революционность зарождающегося капитализма, его прогрессивность по сравнению с старыми феодальными устоями. Старая феодальная наука с ее метафизикой и идеализмом получила брешь. «Первая брешь» — Кант и Лаплас (Энгельс), Дарвин, Ламарк заступили место Линнея, Кювье и т. п. Феодально-богословская метафизика сменяется нарождающимся материализмом. Эволюция, проблемы движения, стихийный материализм пронизали все области научной мысли. В основу легли идеи развития, прогресса. Почему? Потому, что основной боевой задачей буржуазных идеологов данной эпохи являлось оправдание нарождающегося капитализма, потому что необходимо было показать рост, а не застойность, прогресс капитализма по сравнению с феодализмом. Этот прогресс надо было обосновать как исторически неизбежную ступень общественного развития. И целый ряд крупнейших буржуазных умов работал над основанием учений, где идея эволюции кладется в основу. Спенсер, Кант и др. — все они становятся на платформу безусловного развития, признавая в основном идею объективной закономерности, идею естественноисторического процесса. Наибольшего развития это достигает в естественных науках. Но в развитии буржуазного общества и буржуазной науки наступил предел. Обнаружились острые противоречия капиталистического строя. Объективность, закономерность, идеи прогресса — все это стало в противоречие с утвердившимся буржуазным строем. В процессе развития внутренних противоречий буржуазного общества стало очевидным, что Гегель, Фейербах и ряд других представителей буржуазной науки формально подготовили почву для разработки новой, последовательно революционной методологии. Синтезируя и перерабатывая Гегеля и Фейербаха, К. Маркс и Ф. Энгельс создали подлинно-научную методологию — материалистическую диалектику — и преподнесли капитализму неизбежность пролетарской революции. Таким образом, «обоснование» прогресса капитализма оказалось опасным. Научные платформы эволюционистов оказались неспособными защищать буржуа. Появились призывы к возвращению к идеализму епископа Беркли, к поповщине и субъективизму. На щите буржуазной науки снова замаячили идеалистические системы — Фихте, Маха, Авенариуса и им подобных.

Расцвет идеализма и метафизики совпал с последним этапом капитализма — империализмом. Пролетарская революция в России, революция в Венгрии, Герма-

[1] Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 25 — 26.

нии, успешное социалистическое строительство в СССР, противоположность двух систем — капиталистической и социалистической, — всего этого слишком много, чтобы буржуазные идеологи могли оставаться на позициях объективной закономерности. Капитализм избрал идеализм как систему и метафизику как метод, на базе которых и развертывается буржуазная научная мысль новейшего этапа капитализма.

Этнография не является исключением из этого общего для буржуазной науки «правила». Служанка «отечественного капитала», изучая места приложения его в колониях, этнография избрала и для себя, для этнографических исследований в качестве методологии — идеализм, создав всем известную культурно-историческую школу и так наз. «теорию» культурных кругов. В соответствии с указанными выше этапами развития буржуазной методологии, мы имеем в области этнографии изменения в ее частной методологии. Будучи прямым орудием капитализма, в соответствии с общим ходом развития буржуазной мысли, этнография перенесла идеализм и метафизику на свою почву.[1] Теория культурных кругов, активно оправдывающая стремления империалистической буржуазии, становится излюбленным методом работ в этнографии. Устанавливая метафизическую определенность отдельных элементов материального производства, она относит их к отдельным зонам мира. Зоны определенных достижений культуры, по этой «теории», имеют первенствующее значение и должны «доказать» право капитала на эксплуатацию колониальных народов. Эта теория призвана для защиты и оправдания грабительской роли капитала в колониях. Так, от ползучего эмпиризма через такие достижения, как исследования Л. Моргана, этнография докатывается до открыто идеалистических позиций. Смысл этой эволюции заключается в том, что капитализм лишается возможности пользоваться растущими достижениями науки. Он повседневно сталкивается на всех решительно фронтах с обостряющимися все более и более противоречиями. Высшее достижение науки, материалистическая диалектика, став в руках пролетариата смертельным оружием в борьбе с капитализмом, не может стать методологией буржуазной этнографии. Потому единственный исход для буржуазной этнографии — возвращение к метафизике, к идеализму, к этому испытанному оружию угнетения, пособнику эксплуатации.

Марксизм, диалектический материализм, мог стать верным оружием только единственного класса, класса, его создавшего, — класса пролетариата.

Завоевание всех областей науки марксистским методом сталкивается у нас со всевозможными отголосками буржуазной науки, с рецидивами идеализма. Не столько сама личность Руденко может привлечь к себе внимание, сколько та научная продукция, которая, как мы увидим ниже, представляет откровенную апологию капитализма методами буржуазной науки.

В предшествующие годы Этнографический отдел Русского музея повтооял в своем развитии путь буржуазного Запада. Наиболее ярким выразителем этого явился Руденко, литературное наследие которого выявляет последовательное изменение методологии буржуа на разных исторических этапах. От стихийного географического материализма (тоже эклектического) «Инородцев нижней Оби» через прозрачный «материализм» «Башкир» и «Казаков» до полного идеалистического откровения в докладах на Тюркологическом съезде — таков путь Руденко. Анализ его работ одновременно вскрывает и политическую сущность его взглядов, имеющих только видимость «академических», «чисто научных».

Путь западной буржуазной науки Руденко прошел не совсем последовательно. У него всего меньше было элементов материализма и больше всего идеализма. Идеализм, правда, еще в неразвернутом виде, начинается с первых работ Руденко.

В одной из ранних своих работ «Инородцы нижней Оби» Руденко выявляет свою методологию, отдаленно напоминая стиль географического материализма. Так, Руденко последовательно касается в этой работе вопросов географической среды, естественных условий существования, затем переходит к описанию занятий вогулов и т. д. Такая последовательность в изучении дает нам право видеть в этой работе слабый отзвук географического материализма, который характерен был для начала капиталистического расцвета.

Однако эта работа отличается тем эклектизмом, который вообще характерен для буржуазной интеллигенции. Будучи «особенно распространенным у авторов разных «модных» и реакционных философских систем» (Ленин, Соч., т. XXVI, стр. 133), этот эклектизм отражает известную промежуточность интеллигенции. Руденко в качестве представителя последней выступает как идеолог империалистической буржуазии. Так, позиции географического материализма не мешают Руденко тут же заявить: «Есть, повидимому, вполне основательные данные полагать, что религиозные мировоззрения северных вогулов и остяков, уже развившиеся в известную систему с строго выработанным ритуалом, начинают влиять на воззрения самоедов, дающих широкий простор проявлению индивидуальности, и начинают укореняться в их среде».[1] Этот идеалистический прорыв интересен тем, что служит первым признаком грядущего более последовательного идеализма в работах Руденко. Вместе с тем приведенное место характерно для Руденко в смысле обычного для него отрицания классового расслоения даже в тех случаях, когда о последнем нельзя не сказать.

Руденко находит, что именно религиозное, т. е. идеальное, и только оно влияет на растущую индивидуализацию. Между тем так называемое индивидуальное представляет собою прямое следствие социально-экономического развития. Это развитие идет в сторону классового расслоения. О последнем Руденко молчит, и с таким умолчанием о классовом расслоении и классовых противоречиях мы встретимся в работах Руденко в дальнейшем постоянно.

Такова характеристика начального периода научной работы Руденко, в большой степени характерная, впрочем, не столько для него, сколько для всей волковской школы, из среды которой он вышел.

После Октября Руденко выполнял миссию империалиста-буржуа более последовательно, проповедуя прямую контрреволюцию и выявляя активную враждебность диктатуре пролетариата и социалистическому строительству. Его научные исследования становятся все более и более созвучными политической идеологии великодержавного шовинизма и местного национализма.

В предисловии к «Инструкции для измерения черепа и костей человека» (изд. ГАИМК. 1925 г.) Руденко пишет: «В результате, в настоящее время мы располагаем в должной мере еще не проработанным, но многочисленным материалом, позволяющим судить о последовательной смене культур на территории России, о географическом их распространении, в связи с культурами, центры которых лежат за пределами нашего отечества. Много ли вместе с тем мы знаем о физическом типе творцов и носителей этих

■

[1] Достаточно назвать Л. Моргана и патера Шмидта, чтобы ясны стали особенности этнографии на расцвете и на закате капитализма.

[1] Инородцы нижней Оби, СПб., 1914, стр. 12.

культур, о их расовом происхождении и взаимных генетических связях».

Цитированный отрывок отнюдь не представляет только стилистическую неточность. Правда, в «Предисловии» Руденко не дает развернутого изложения своих взглядов, которые полнее выявляются в других его работах и в работах его учеников.[1] Но и из «Предисловия» кое-что становится совершенно понятным: 1) Проблема стадиальности в развитии материального производства ни в каком случае не стоит перед Руденко, а материальное производство растворяется у него в общем понятии культуры вообще. 2) Понятие исторического (диалектического) развития подменяется «сменой культур». Руденко приписывает культурам, приходящим на смену одна другой, самостоятельные центры их возникновения. В переводе на язык буржуазно-этнографической методологии это называется теорией культурных кругов, т. е. признанием за отдельными явлениями материального производства особых географических районов возникновения. Такое «моногенетическое» толкование происхождения культуры с марксизмом ничего общего не имеет. 3) Руденко связывает особенности в развитии культуры с неизменными свойствами различных рас. Таким образом, Руденко выявляет особые культуры, отыскивает центр возникновения каждой из них и каждую культуру и каждый центр связывает с определенной расой. Расе приписываются особые свойства решающего влияния на историю, т. е. проводится точка зрения расовой теории. Не без маскировки, в предисловии к «Башкирам»[2] Руденко пишет об условиях, которые кладутся им в основу изучения башкир: «Общность территории, занятой башкирами, разнообразие природных условий существования в различных районах этой территории, сложное историческое прошлое башкир и их продолжительное сожительство с различными соседящими народами в высшей степени усложнило их собственный быт» (стр. 3). География, как среда для построения этого исследования, у Руденко имеет первенствующее значение. Но берет ли он эту среду в понимании хотя бы географического материализма? Отнюдь нет. Понятие природных предпосылок фигурирует у него главным образом в том смысле, что физический тип или, говоря более понятным языком, — «раса» связывается им с «бытовыми элементами», т. е. опять-таки проводится известная нам точка зрения расовой теории. Что действительно это так, стоит только напомнить, например, такое место из «Башкир»: «Если сопоставить выводы, к которым мы пришли при изучении районных вариаций физического типа башкир с вариациями бытовыми, то нетрудно будет заметить, что существует несомненная между ними связь. Правда, границы областей, выделенные по физическому типу, не вполне совпадают с культурно-историческими, тем не менее и физическое смешение, и культурное взаимодействие башкир с соседними народностями шло, повидимому, рука об руку» (стр. 325). Также характерно следующее: «Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки в методологии изучения турецкого культурного мира, мы должны представить наглядную его картину. Для этого совершенно необходимо выяснить *географическое распространение отдельных бытовых элементов и их сочетание в тех замкнутых биологических единицах, которые мы называем этническими группами*» («Тюркологический съезд в Баку», стр. 65. Курсив мой. *А. Б.*). Методологией в изучении явлений материального производства для Руденко служит, таким образом, установление физического ареала, причем он пытается совместить его с культурно-историческим ростом. И здесь такое явление общественной жизни, как этническую группу, т. е. элемент определенной исторической стадии, проблему этногонии в широком смысле слова, Руденко подменяет биологически конструируемой этногруппой. Руденко «облегчает» свою научно-исследовательскую работу, отметая проблемы истинного развития общества и заменяя это более «легким» объяснением — выводом этнообразования из физических свойств рас. Это и значит, что он становится на путь идеализма. Когда Ленин, занимаясь разбором идеализма в одежде эмпириокритики, критикует аналогичное по смыслу вышеприведенным отрывкам положение, то он пишет, что «перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза. С «хорошими» ли целями предпринимается такое перенесение, или с целями подкрепления ложных социологических выводов, от этого фраза не перестает быть фразой».[1] Идеализм, который сигнализует нам о своем присутствии со страниц ранних работ Руденко, все резче и резче проявляется в более позднем периоде.

Идеализм Руденко неразрывно связан с метафизикой.

Еще у Лейбница мы находим довольно остроумное замечание по поводу беспрерывных аналогий, которыми стараются объяснить все явления. Лейбниц говорит, что «аналогия есть единственный путь к положительной метафизике». Этот замечательно верный афоризм бьет не в бровь, а прямо в глаз всем пользующимся методом формальных аналогий и воображающим, что они объясняют этим наблюдаемое ими явление. Постоянное искание каких-то связей по внешнему сходству за пределами изучаемого данного отнюдь не приводит к установлению действительных связей. Кроме установления метафизических категорий, этот метод ничего не дает. Но именно этим методом и пользуется Руденко.

Принимаясь за выяснение таких явлений общественной жизни, которые определяют, например, все направление в экономике башкир, Руденко ищет, нет ли чего похожего у других народов, делая совершенно произвольные заключения о заимствованиях. Таким образом, скотоводство и пчеловодство заимствованы от «кочевнической Азии» (стр. 56), земледелие от «северо-западных соседей, финнов и великоруссов», от которых башкиры переняли «готовые формы и орудия этого хозяйства», появление «земледельческой культуры» считается заимствованием от «великоруссов и мусульман». Разбирая вопросы техники, Руденко произвольно суммирует ряд воображаемых им заимствований, где участвует, конечно, Азия, а также великоруссы, вотяки, черемисы, чуваши, татары и мн. др. Таким образом, совершенно конкретное общество он разрывает, расчленяет на ряд составных частей, не дав никакого научного объяснения, выполнив, однако, вполне определенный социальный заказ. Но ведь это и есть метафизика в действии.

Своими метафизическими построениями Руденко пытается снять всякую историческую перспективу развития у башкир. Но действительные факты находятся в непримиримом противоречии с этими построениями. Создание второй металлургической базы на Востоке, проблема Урало-Кузбасса, социалистическое строительство в целом — вдребезги разбивают «теоретические» домыслы буржуа. Социалистическая стройка — критерий правильности марксистско-ленинского прогноза, а не идеалистических домыслов буржуа Руденко.

В своей метафизической практике Руденко отнюдь

---

[1] См. интересные в этом отношении работы М. П. Грязнова, как, например, «Казакстанский очаг бронзовой культуры» и др.

[2] Башкиры. Опыт этнологической монографии, Л., 1925 (в дальнейшем цитируем «Башкиры»).

[1] Собр. соч., т. XIII, стр. 269.

не пользовался своим методом только в исследованиях о башкирах. Рисуя общую картину турецкого мира, он продолжает ту же традицию. Турки получают в ассортимент слагаемых своей культуры «подарки» от финнов, монголов, манчжур, Ирана и т. п. История турецких народов для Руденко — антиисторическая груда напластований. Процесс, развитие, даже развитие в эволюционистском буржуазном понимании для Руденко — незнакомые явления. Вместо спонтанного развития общества, вместо самодвижения общественного развития конкретных турецких обществ Руденко выявляет безнадежную метафизику. Можно ли после этого искать в работах Руденко хотя бы подобия постановки вопроса об общественно-экономических формациях, подобия марксистской трактовки хотя бы некоторых отдельных вопросов истории общества? Искать все это у Руденко было бы напрасным трудом. Все, что поближе к марксизму, далеко от Руденко. Будучи осведомлен о существовании близкой к марксизму теории языкознания акад. Н. Я. Марра, Руденко воспринимает эту теорию на наиболее «безвредном» для себя этапе ее развития. Указывая на яфетидов, «влияющих на турецкий мир», представляя яфетидов в качестве особой расы или особого народа, Руденко стоит на тех позициях яфетической теории, которые были ей присущи еще в период неполного высвобождения из пут буржуазной идеологии, когда связи с индо-европеизмом, с расовой теорией не были еще порваны окончательно и бесповоротно.

Вопросы стадиальности ему совершенно чужды и непонятны; непонятны ему также различия и сходства в явлениях материального производства, а для того, чтобы внести какую-нибудь ясность в разрешение исследуемых явлений, вместо объяснения имманентных причин развития он витает в поисках «прародины» явлений, ни в какой степени не связывая их с развитием данной общественной среды, данной формации. Этот метод был разбит Лениным, который указывал, что нельзя отбрасывать понятие социально-экономической формации, так как выяснение возникновения данного явления иначе превращается «в пустейшие банальности» (Ленин). Сказанное Лениным вполне применимо к методу, избранному Руденко.

Для установления определенной сферы явлений материального производства Руденко пользуется количественным анализом. Помощью этого метода он выявляет «ареал распространения» изучаемого им культурного явления. Руденко сам указывает на этот метод. «В изучении быта весьма важную роль, — говорит он, — играет количественный анализ. Если мы иной раз и имеем представление об ареале распространения того или иного бытового явления, то для нас совсем не безразлично, встречается ли оно спорадически, единицами, или это явление массовое и действительно может рассматриваться как бытовой элемент, удовлетворяющий той или иной насущной потребности народной массы» («Тюркологический съезд», стр. 64). С помощью этого метода, т. е. в зависимости от того, будет ли это массовое явление, или спорадическое, Руденко решает вопрос, культурный круг это или заимствование. Вопрос о возможности внутреннего роста им не ставится и тщательно замалчивается.

Оперируя таким методом, он и выводит, например, тип «азиатского лука» с его особой закономерностью распространения, т. е. он придает вещам свойство самостоятельного развития. Способ молотьбы лошадьми наводит Руденко на мысль об азиатском его происхождении («Башкиры», стр. 71), костюм на мысль о том, что это азиатский кочевнический обычай (стр. 165) и т. д.

Теория культурных кругов особенно резко проявляется на примерах монгольской и турецкой кибиток («Башкиры», стр. 174 и «Тюркологический съезд», стр. 60). Закрепляя за определенным ареалом формы кибиток, являющихся лишь стадиями в развитии жилища, Руденко создает в своем воображении два различных типа, вместо того чтобы рассматривать эти формы жилья как стадии, как переходы к более усовершенствованному типу жилища (от монгольской остроконечной кибитки к турецкой шатрообразной).

Вряд ли стоит перечислять все «аргументы», которые привлекаются Руденко для «убедительного показа» культуры кочевников наизнанку. Приведенных отрывков вполне достаточно, чтобы показать, насколько его методология антинаучна и насколько прозрачна его «объективность внеклассового подхода».

В неразрывной связи с указанными выше приемами этнографических исследований Руденко находится и обычное для него игнорирование классового расслоения в изучаемом обществе и полное умолчание о классовой борьбе. В этом особенно ярко сказывается та самая связь науки с политикой, на которую неоднократно указывал В. И. Ленин. «Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями по сути дела, прикрываемой гелертерско-шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, является материализм и идеализм». [1]

В статье «Башкиры» [2] Руденко всячески старается сгладить остроту классового расслоения у башкир: «У них были князья, *очень ограниченные народным собранием* (джиин), *где всякий башкир пользовался правом голоса*» (стр. 484. Курсив мой. *А. Б.*). «Обложив поголовной податью башкир, русское владычество потрясло в самом основании существовавшие прежде отношения, ясак сравнял и князька и улусного человека; приказная изба одинаково относилась и к женщине и к мужчине. Но разрушение их социального строя было не в интересах господствующей власти, почему она и принимает ряд мер, одной из которых является освобождение от ясака башкир, обязанных нести военную службу, так называемые тарханы».

Императорская же Россия, оказывается, «допустила» башкир управляться при помощи родовых старейшин, которые, по словам Руденко, владели, однако, тарханными грамотами. Руденко поражается, что, «несмотря на это, Россия нашла в башкирах злейшего и упорного себе врага; вся история башкир состоит из постоянных измен и открытой вражды».

Руденко отмечает, что Башкирия стала центром, куда сбегались мусульмане, «где создавалась партия, мечтавшая о восстановлении мусульманского царства». Приведенные отрывки характеризуют Руденко в роли защитника действий русского правительства, с одной стороны, и, с другой, он преувеличивает значение родовой организации за счет смазывания остроты классовых противоречий. Усиленно замалчивая или замазывая классовое расслоение и классовую борьбу, Руденко, напротив, выводит в качестве положительного типа «тип зажиточного», стараясь представить его ведущей фигурой сельского хозяйства. Руденко говорит при этом о «прекрасных хозяевах», которые хорошо обрабатывают десятки десятин земли «новейшими земледельческими орудиями и убирают хлеб при помощи машин» («Башкиры», стр. 59), и со страниц «ученого исследования» выглядывает отвратительное лицо кулака, заботливо опекаемого Руденко.

Рассматривая разнообразие жилищных построек, Руденко опять-таки совершенно упускает из виду классовое расслоение, т. е. преднамеренно исключает его, заменяя учетом только «физико-географического

[1] Ленин, Собр. соч., т. XIII, 2-е изд., стр. 292.

[2] Новый энциклопедический словарь, т. VI, стр. 483.

фактора», «орографическим разнообразием», «турецко-монгольским Востоком», «финно-славянским Западом» и т. д. («Башкиры», стр. 161). Руденко неоднократно подчеркивает «единство социального строя» турок («Тюркологический съезд», стр. 63). Не остается сомнений в намерениях Руденко замазать классовую борьбу и разжечь националистические настроения, с тем чтобы националистической борьбой подменить классовую борьбу.

В своем беспристрастном, холодном фиксировании фактов «усмирительных» экспедиций, которые предпринимала царская Россия по отношению к «инородцам», Руденко проявляет всю свою нетерпимую великодержавность. Руденко находит возможным считать достижением принятое башкирами от русских земледелие, причем это преподносится им в качестве положительного влияния на башкир. Руденко умалчивает, что «проникновение» земледелия сопровождалось ростом угнетения местного населения со стороны русского правительства. Он не рассказывает об этом и, напротив, строит теорию оправдания действий русского капитализма. Руденко напоминает того самого философа эпохи Возрождения, Гуго Гроция, который проповедывал, что «наказание находит себе оправдание лишь в том случае, если страдания, причиняемые отдельному лицу, делают возможным еще большее благо для него и для общества». Что же, стоя на этой точке зрения, «гуманной» в целом, можно, конечно, оправдывать «усмирительные меры» царского правительства, так как башкиры начали оседать, т. е. перешли, по Руденко, к более высокой форме хозяйства. Мы же обязаны воспринимать эти усмирительные меры русского царского правительства в качестве защиты «корыстных классовых интересов денежного мешка»: эти «корыстные классовые интересы денежного мешка и породили широкое и глубокое *контрреволюционное* течение среди либерализма, течение против демократии, в защиту всякого империализма, национализма и шовинизма и всякого мракобесия».[1] Этим местом из Ленина и определяется классовое существо работ Руденко, «похвально» выполнявшего социальный заказ враждебного пролетариату класса. Более сложным вопросом является вопрос, как интерпретирует Руденко бывших «инородцев», являющихся в советских условиях полноправными строителями социализма в Советском Союзе. В этом случае Руденко применяет более сложные приемы, требующие специальной дешифровки.

Какие основные задачи стоят в настоящее время перед советской властью в социалистической реконструкции кочевого хозяйства? Это прежде всего включение скотоводческого хозяйства в план строительства социализма, разрешение проблемы планово организованного кочевого хозяйства наряду с улучшением материального благосостояния самих казаков. Это значит, что перед кочевым хозяйством ставится проблема организации колхозов и совхозов.

Дает ли Руденко возможность понять прошедшее десятилетие (мы говорим о работах 1927 г.) советской власти, понять сущность происходящих процессов в Казакстане? Только классовая направленность исследователя может объяснить его интерпретацию факта оседания кочевников как факта растущего регресса. Разбирая оседание кочевников, Руденко пишет буквально следующее: «Падение скотоводства, оседание казаков и постепенное развитие земледелия тесно связаны между собой и с каждым десятилетием прогрессируют.

«Можно ли рассматривать оседание и распространение земледелия как новые культурные приобретения? «Разрешение этого вопроса мы считаем преждевременным, отметим только, что земледелие в той форме, в какой мы встретили его у обследованных нами родов, известно казакам со времени этнического их самоопределения. Что же касается зимних жилищ, то типологическая их устойчивость, исключительно обширный ареал распространения и ряд других соображений говорят о большой их древности» (Сб. «Казаки», Ак. наук, 1927, стр. 9—10).

Что стремится доказать Руденко? Высказать сомнение по поводу того, приобрели ли что-нибудь казаки за десятилетие, т. е. за время существования советской власти. Руденко склонен приписать им регресс.

Такие факты, что казаки свергнули колониальный гнет самодержавия, получили возможность строить свою жизнь, строить свою национальную культуру, что Казакстан становится базой цветной металлургии, что Казакстан меняет лошадиную тропу на рельсы железных дорог (Караганда, Турксиб), проспект пятилетнего плана Казакстана, — все это не интересует Руденко и не убеждает в хозяйственном и культурном росте Казакстана. Напротив, Руденко предупреждает «легкомысленного» читателя не считать оседание казаков и земледелие культурными приобретениями. По характеристике Руденко, это знаменует собою возврат к древности, к седой старине.

«Таким образом, на наших глазах происходит коренное переустройство казакстанского хозяйства. В каком направлении пойдет его дальнейшее развитие, сказать трудно, ибо оно будет зависеть от многих причин» («Казаки», вып. 15, 1930, стр. 70). Руденко не обращает внимания, что молодой Казакстан включился в социалистическую стройку. Руденко неизвестны пути развития Казакстана. Эти пути, пути социалистической реконструкции, непонятны для него. Непонятны ли? Вернее, Руденко утопически мечтает, что завось Казакстан не пойдет по путям социалистической реконструкции.

Интересы классового врага, сказавшиеся в теоретических статьях Руденко, позволяют определить и лицо этого классового врага. Совершенно очевидно, что общей социальной базой теоретических построений Руденко являлась система империализма, при том разлагающегося империализма. Но построения Руденко имеют, вернее — имели, свою внутреннюю базу, которая выявляется из его теоретических работ.

В одной из своих работ Руденко дает резюме своих методологических приемов, которые как будто противоречат всему изложенному выше. На стр. 10 цитированной работы Руденко неожиданно заявляет: «Кочевой образ жизни и сооружение неподвижных жилищ, занятие земледелием в обследованных нами районах правильнее рассматривать вне *посторонних заимствований, а как внутренние процессы, возникающие и развивающиеся на почве экономических факторов и взаимоотношений*» («Казаки», стр. 10. Курсив мой. *А. Б.*). Таким образом, после метафизических построений следует рассуждение о внутренних процессах, о связях, взаимоотношениях.

Дело сразу объясняется, если мы перейдем на стр. 30, где Руденко развертывает программу действий, националистическую программу кулацкого слоя казаков.

В поисках социальной среды, на которую он мог бы опереться, Руденко переходит на платформу националистической буржуазии, проповедуя программу султангалиевщины. Он пишет: «За последнее десятилетие население утратило свою былую экономическую мощь, и мы стоим перед задачей скорейшего восстановления народного хозяйства. Это восстановление, которое займет многие годы, должно будет проходить в новой для казаков обстановке, в борьбе за существование не только внутри племенной группы, но и на периферии, при условии все осложняющихся хозяйственно-экономических взаимоотношений и неуклонно

[1] Ленин, Собр. соч., т. XX, стр. 23.

эволюционизирующего общегосударственного и мирового хозяйства». К каким казакам направлена эта речь, с кем призывает бороться «почтенный» ученый, чьи классовые интересы нащупывает Руденко?

Ответы на все эти вопросы очевидны. Националистическая буржуазия должна устроить восстание против советской власти — такова программа Руденко, таковы его сокровенные чаяния. Это — расчет на использование кулацких прослоек внутри казаков.

Отмечая категорию зажиточных, Руденко старается воспеть роль кулака и пропагандировать его культурное влияние: «Русское культурное влияние просачивается в жизнь не только вместе с батраками, проживающими в русских деревнях, но, быть может, значительнее, вместе с русской грамотностью, через зажиточный класс, который весьма восприимчив к культурным достижениям». «Мы нередко наблюдаем, — пишет Руденко далее, захлебываясь от восторга, — у зажиточных казаков вместе со скотоводческим хозяйством полеводство с применением сельскохозяйственных машин в наиболее северных местах, не говоря уже о швейных машинах в домашнем обиходе и т. п.». Таким образом, советская власть, напрасно раскулачивая «зажиточные» хозяйства, глумится, повидимому, над «истинной» культурой. Руденко предлагает поступать иначе. Он предлагает оседание кочевников с сохранением индивидуального кулацкого хозяйства. Скот будет пастись летом с пастухами. История, по мнению Руденко, подготовила такой «симбиоз». Руденко предлагает оставить и даже добиваться этой формы хозяйства, т. е. формы крепких «столыпинских» хуторов: «Для такого комбинированного скотоводческо-земледельческого хозяйства в приалтайском районе имеются налицо все условия. На этой почве уже в настоящее время между казаками и русским населением устанавливается вполне естественный симбиоз». «Крестьяне на лето отправляют часть своего скота вместе с казаками на выпас в горы, а казаки получают от русских продукты их земледельческого труда» («Казаки», 1930, вып. 15, стр. 69 — 71). Руденко скромно добавляет: «пока, впрочем, в этих взаимоотношениях господствующее положение занимают культурно более сильные русские! Теперь понятен этот «безобидный» симбиоз. Элементарная политическая грамотность говорит нам, что речь идет здесь о кулачестве, о русском кулачестве, о попытке «защитить» свою социальную базу, о попытке разжечь национальный вопрос открытым великодержавным отношением к казакам, издевательским жонглированием понятиями «культура», «зажиточный», «симбиоз», «крестьяне», «русские» и т. д.

Научная работа Руденко представляет собою открытую политическую агитацию. Это последний вопль погибающего класса, раздавленного железной диктатурой пролетариата. Этот «нейтральный», объективный» ученый вызов — реакционный крик эпигона империализма, открытой контрреволюции внутри СССР. Это хороший урок, наглядное доказательство необходимости нашей научной бдительности и, напротив, пример того «гнилого либерализма» (Сталин), под покровом которого работы, подобные разобранным, могли выходить в свет еще в 1930 г. под маркой Академии наук СССР.

Таковы политические уроки «руденковщины». Вот куда ведут разговоры «об азиатском луке», «индивидуальности мировоззрения», «ареале распространения», «количественном анализе» и т. д. Такова направленность, такова «нейтральность» буржуазного мира. Но фактически это — плоды метафизического идеализма. Вот почему борьба за материалистическую диалектику является классовой партийной борьбой. Наши работы должны беспощадно разоблачать классовую сущность нашего врага. Эти работы должны вскрыть социальную базу всяких уклонов, которые т. Сталин назвал ползучими.

В последовательной проработке литературного наследства, в борьбе с антимарксистскими течениями, в борьбе на два фронта должны конкретизироваться указания т. Сталина по борьбе с «гнилым либерализмом» не только в истории нашей партии, но и во всей нашей науке.

К. В. Тревер

Олень с тоской во взоре и меланхолическая свинья

(О книге А. С. Башкирова, «Искусство Дагестана», Москва, 1930)

Появления этой книги ждали давно. Уже лет пять-шесть тому назад автор обещал издать материалы московской экспедиции в Дагестан, собранные и частью вывезенные под руководством Н. Ф. Яковлева и при участии Н. Б. Бакланова, самого А. С. Башкирова и Л. И. Жиркова. Впрочем, об этой экспедиции, вернее — об участии в ней других лиц, кроме автора, в книге вовсе не упоминается.

К книге, выхода которой ждешь несколько лет, естественно хочется предъявить соответственно повышенные требования — и к ее техническому оформлению и к ее содержанию. Но в данном случае, даже при самом решительном снижении предъявляемых требований, читатель испытывает более чем неудовлетворенное чувство.

Многочисленные воспроизведения (автотипии на прекрасной меловой бумаге) выполнены неряшливо, но эта неряшливость не всегда может быть поставлена в вину типографии. Башкиров погнался за количеством иллюстраций и дал в ряде случаев неудовлетворительные фотографии. Это особенно отразилось на качестве таблиц 72 и 16, изображающих очень ценные памятники; для сравнения мы даем фотографию (фот. 1) камня, изображенного на таблице 16. Мало того, девять фотографий сделаны Башкировым не с подлинников, а с бумажных, довольно неряшливых эстампажей (20, 29, 32, 36, 39, 66, 92, 93) — результат ясен сам собой; оговорив это обстоятельство в двух-трех случаях, в остальных автор умолчал об этом. Вероятно, в погоне за тем же «количеством» автор своеобразно занумеровал таблицы, не так, как принято, т. е. чтобы каждая таблица имела один номер: листик, на котором имеются три фотографии, обозначается: «табл. 23, 24, 25». В результате вместо 81 таблицы в книге числится 107. Это крайне неудобно в библиографическом отношении и затрудняет пользование. Рисунки в тексте, воспроизводя в штриховых клише литографии из атласа Дорна, даны слишком грубыми чертами.

Но эти недочеты бледнеют в сравнении с недочетами, которые обнаруживаются в самом содержании книги. Прежде всего возникает вопрос о методологии автора, вопрос особенно актуальный в условиях борьбы за применение новой, марксистско-ленинской методологии.

На мысль о том, что Башкиров применяет в своем исследовании именно новую методологию, могло бы навести то обстоятельство, что в книге во многих местах встречаем упоминания об общественном строе, производственных отношениях, борьбе классов, —

упоминания, необычные для старых искусствоведческих работ.

Но, к сожалению, хотя отдельные слова, если бы их освободить от *всего* контекста, и способны навести на мысль, что автор идет по новому научному пути, ближайшее ознакомление с «высказываниями» Башкирова убеждает в обратном. Мы имеем здесь чрезвычайно любопытный и сравнительно редкий в человеческом обществе случай усвоения индивидуумом определенных звукосочетаний (вероятно, в результате того, что он часто имеет возможность их слышать), но вполне безотчетно, без непосредственной связи каждого данного звукосочетания (о словах тут не приходится говорить) с тем содержанием, которое влагается в эти звукосочетания окружающим обществом. Ничем другим нельзя объяснить появление на страницах книги таких «марксистских» высказываний, которые, не нуждаясь в комментариях, сами ясно раскрывают перед нами положение дела.

«В обмене результатами производственных отношений — залог культурного роста народов. Предметами этого обмена среди памятников материальной культуры прежде всего являются: ткани, изделия из металла, камня, глины, дерева, кости и фабрикаты из других материалов» (стр. 44).

«Сюжеты эти имеют свою глубокую историю, а в эпоху феодального общества с его натуральным хозяйством были распространены по всему миру, где они проявлялись в производственных отношениях» (24).

«...памятники прекрасно отражают своеобразный характер искусства эпохи производственных взаимоотношений феодального общества — Востока и Запада» (13).

«Мы думаем, что не сделаем большой ошибки, если объясним наличие художественного фактора общими экономическими и социально-политическими условиями, которые были на Переднем Востоке и Кавказе, в поле культурно-производственного влияния которых входил и южный Дагестан» (77).

«Различные памятники по назначению, материалу и технике трактовки объединяются единством стиля. Восприятие его объясняется общностью социального уклада, организовавшегося в общих условиях производственных отношений с тесным обменом достижениями производства и искусства разных народов и областей» (47).

Нумизматический материал «самый портативный и ярко характеризующий производственные отношения народов и государственных объединений...» (78).

Борьба — «это любимый сюжет в искусстве древности, отражающий здоровые стороны быта азиатской и античной структуры общества» (24).

«Этот орнаментальный мотив [борьбы] весьма распространен и встречается свободно у многих народов феодальной эпохи» (25).

Эпоха от XI — XII в. до XIV в. — «время расцвета специфической пластики по всему Средиземноморью и Передней Азии в эпоху производственных отношений феодального общества, построенного на основе хозяйства его азиатской структуры...» (79). «Роль специфической социальной структуры Востока ярко выражена в памятниках Дагестана, но она также отражает здесь, как мы ужеи указывали, и некоторые особые элементы той общественной формации Запада» (79).

«Здесь, на Кавказе, и, в частности, в Дагестане, в симбиозе [?!] двух оттенков феодальной формации Востока и Запада рождаются часто и свои специфические черты художественного творчества» (80).

В процессе усвоения не осознаваемых звукосочетаний в язык Башкирова вошли и термины «динамика» и «статика». Наслышанность о важности учета этих двух моментов и попутно воспринятое стремление показать борьбу мировоззрений, обусловленных общественным строем, приводят автора к весьма сенсационным наблюдениям о путях развития искусства «Востока» и искусства «Запада». Необходимо привести полностью одно из таких рассуждений Башкирова:

«Касаясь изучения технического и стилистического оформления художественных образов в скульптуре эпохи феодального общества, мы находим, что в ней проходят два основных направления. Первое представляет стремление к пластической округлости, где отдельные детали часто трактуются почти полной скульптурой, например, в обработке en masse головы, ног и др. анатомических частей. Это присуще по преимуществу пластике Запада, где сильны были художественные традиции античного общества. Пластическая округлость связана здесь со свободной экспрессией в искусстве, являющейся своеобразной динамикой в освобождении его от материала. Второе направление в скульптуре является полным плоскостности и силуэтности. Оно мало стремится к оживленному рельефу. Рельеф с трудом выходит из общего фона, детали его врезываются в материал и подчас маскируются реальностью. Плоскостность рельефа является исконной для стран Востока, стремящихся фиксировать момент в застывшем состоянии, как бы этот момент ни был прост и велик. Плоскостность и статика, характеризуя искусство Востока, вытекают из сущности структуры его общественной формации. Искусство эпохи античного и феодального производства на Западе проявляется в стремлении выйти из материала, освободиться от его зависимости. В искусстве Востока наблюдаем пассивность — стремление быть в материале, без всякого движения, к абстракции от него» (42 — 43).

Выводы Башкирова, которые мы назвали сенсационными, надо сознаться, кажутся сенсационными только в виду некоторых особенностей формы их изложения, необычайности сочетания некоторых новых (в таком контексте) терминов с насчитывающими не один век жизни рассуждениями о пассивности и неподвижности Востока. Источник этой осведомленности Башкирова об исторических судьбах «восточных народов» можно раскрыть без особого труда. Этим источником являются, конечно, не какие-либо древние документы, литературные свидетельства или вещественные памятники древности, а аттестации, во множестве разбросанные и в европейской и в русской литературе периода развернутого колонизационного натиска на Восток:

«Не боюся я Востока! —
Отвечал Казбек: —
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри, в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.
И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тагеран.
Вог у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
. . . . . .
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя...».

Интересно, отдает ли себе Башкиров отчет в том, почему созвучный ему в понимании «Востока» русский поэт именно так, а не иначе, мог и должен был в 1841 г. характеризовать этот «Восток»? Ведь последующие стихи Лермонтова вполне раскрывают ход мыслей поэта-русского офицера на Кавказской линии, говорящего о движении «Севера» на «Восток».

Таким же усвоенным в звукосочетании, но абсолютно не осознанным для Башкирова достижением науки является яфетидология или, хотя бы, уже давно пройденная стадия развития этого учения, стадия «яфетического языкознания». Как сочетать это изумительное высказывание о «структуре» восточных народов с выявленным Башкировым «знакомством» с яфетической теорией? Впрочем, и яфетическая теория, как в других местах книги учение о формациях, производственных отношениях и пр., преломляется в изложении Башкирова в совершенно своеобразных формах:

«Возникновение их [«влияний форм и стиля переднеазиатского искусства»] и существование объясняются общностью культурной среды этноса яфетического мира, игравшего еще в эпоху бронзовой индустрии решающую роль в жизни обширного бассейна Средиземноморья, а с ним и всего Переднего Востока и дававшего определенный тон культуры и во все последующие времена» (78).

«В памятниках рассматриваемой эпохи [XI — XIV вв.], как и в эпоху разложения родового строя Средиземноморья, в период так называемой «эгейской культуры», когда сказывалась роль мощной этнической силы яфетического мира, так и в эпоху упомянутой [феодальной] социальной формации сила того же этноса попрежнему жива в искусстве Кавказа и, в частности, Дагестана» (79).

Нелепость всех этих «социологических» и «яфетидологических» рассуждений, уснащенных научными, часто искаженными, терминами, проистекает (помимо указанного выше способа усвоения автором этих терминов) прежде всего из того, что это — мантия, оболочка или, вернее, дымовая завеса, за которой скрывается подлинное лицо автора: чистейшей воды формалиста, которому на всем протяжении книги не пришло в голову хотя бы раз, хотя бы по какому-нибудь одному случаю остановиться на вопросе о существе тех производственных отношений, о которых он говорит, на том, что представляло собою десятки раз упоминаемое им (в силу привычности звукосочетания) «феодальное общество Востока и Запада». Едва ли тут может послужить оправданием автору отсутствие «публикации исторических документов» (77). Во-первых, хотя бы не очень богатые, но документы есть, а затем — есть драгоценнейшие вещественные документы, которые Башкиров сам изучал и которые он сам определяет как «весьма ценный материал, освещающий основные этапы культурной истории Дагестана» (6). Хотя Башкиров заявляет, что «содержание и характерные черты памятников должны осветить ту социальную структуру, в атмосфере которой они создались и бытовали» (7), он не делает к тому никаких попыток, так как в этих документах его не интересовало и не озабочивало существо дела, в частности — не озабочивал и вопрос о функции памятников. Не задаваясь вопросом, фрагментами какого здания или каких зданий он занимается, когда и кем эти здания могли быть построены и какую функцию они выполняли первоначально, Башкиров отмечает принадлежность камня тому или иному из существующих в Кубачи зданий так, как будто камень искони находился в кладке именно данной стены.

Башкиров смешивает явно разновременные памятники в одну кучу, выделяя в более позднюю группу только несколько камней, и трактует их как единое целое, независимо от времени и пространства, а затем удивляется, что в искусстве Востока нет динамики. Формализм Башкирова ярко сказывается в том «научном аппарате», в тех пресловутых «аналогиях» и «репликах», которыми он, как из рога изобилия, осыпает наиболее полюбившиеся ему памятники. И каких только тут нет «аналогий»!

Увлеченный страстью к аналогиям, Башкиров подбирает их даже к тем памятникам, о которых он ничего не говорит. Так, совершенно некстати в качестве примеров «иконографии химеровидного чудовища в геральдической позе» (50) он привлекает армянский рельеф, изображающий двух зверей, стоящих встречно, с одной общей человеческой головой, и двух львов из раскопок в Гермезе, тоже встречных и имеющих одну общую голову. Кажется, можно развернуть нить мысли автора. Это — «аналогии» к рельефу из Кубачи (ныне на выставке в Эрмитаже), изображающему двух львов по сторонам растения, верхушка которого вместе с двумя головами этих львов, несомненно, передает стилизованные формы большой львиной морды (наша фот. 2). Может быть, и здесь действует так часто проявляющаяся у Башкирова наслышанность, но не осведомленность.

Два рельефа с изображением сцены борьбы дают Башкирову основание для следующего изумительного рассуждения: «Это любимый сюжет в искусстве древности, отражающий здоровые стороны быта азиатской и античной структуры общества; он, например, превосходно фиксирован в памятниках эпохи разложения родового строя Греции, в рапсодиях Илиады, где Гомер крепко соединенные балки двухскатной крыши сравнивает с героями-борцами, плотно схватившимися в горячей борьбе. Прекрасной иллюстрацией к гомеровскому сравнению будет поздний рисунок художника Ефрония на греческой архаической вазе, изображающий борьбу Геракла и Антея. В феодальной Руси имеется великолепный образец изображения борьбы среди прилепов Дмитровского собора в городе Владимире на Клязьме, в среднем прясле южной стены. С кубачинской композицией можно сопоставить изображение борьбы из «серии бытовых картинок Востока» Палатинской капеллы в Палермо... Сцена борьбы передана также на «Гератском бронзовом котелке Государственного Эрмитажа 559 г. гиджры (1163 г. н. э.)», изданном Н. И. Веселовским... Та же композиция имеется на золотой пластинке-набивке из кургана «Чмырева могила», переизданная Minns'ом. Большее количество аналогий не дало бы много нового. Этот орнаментальный мотив весьма распространен и встречается свободно у многих народов феодальной эпохи» (24 — 25).

Читая здесь и в других местах эти своеобразные синодики, невольно думаешь: почему это нагромождение, никому и ни к чему ненужное, так знакомо? Ведь это же искусствоведческое построение доброй старой формальной школы, да еще в кривом зеркале; ведь для любителей этих аналогий и реплик тысячи километров, десятки столетий, различия в общественном строе, различия во всей обстановке — ничто, так как в самом крайнем случае всегда готова к услугам теория влияний и заимствований.

«Сюжет и техника трактовки рельефов геральдических кубачинских композиций весьма близки влади-

Рис. 1

мирно-суздальским «обронным» украшениям феодальной Руси, и в них чувствуется сильный симбиоз стилистических особенностей искусства как Востока, так и Запада. Здесь, как на месте пересечения двух влияний с юго-запада (европейского) и юго-востока (азиатского), проходит своеобразная переработка этих направлений в форме местного стиля» (43).

Интересно наметить на карте направления этих «влияний». Идя с юго-востока, из Азии, и с юго-запада, из Европы, эти влияния, по наблюдениям Башкирова, пересекаются во Владимиро-Суздальской области, а поскольку они тут «пересекаются», очевидно, они идут куда-то еще дальше, в пространство. Эти шествия влияний напоминают детское гадание: нужно закрыть глаза, раскинуть широко руки, сжать крепко кулаки, выставив указательные пальцы (правой руки влево, левой руки вправо) и, не раскрывая глаз, искать пальцами встречи. Но у добросовестно «гадающих» детей при этой игре пальцы обычно не перекрещиваются.

Башкиров умеет быть и более точен в указании источников, откуда пошли некоторые композиции, например, кубачинских рельефов. «Картина боя двух конников превосходно представлена на поясной пряжке II — III веков н. э. (Государственный исторический музей, зал VIII, витрина 8), из собрания П. О. Бурачкова, найденной на границе Херсонской и Таврической губ. Она является прототипом Кубачинской композиции». Остается только выяснить, в каком именно музее или частном собрании кубачинский мастер XIII в. имел возможность ознакомиться с этим источником своего вдохновения и почему, с другой стороны, до II — III вв. никому в голову не пришло изобразить «двух конников», скачущих друг против друга с оружием в руках.

При «точном» указании источников и «прототипов» автор любит давать и обобщения. Так, отметив, что с «одинокими конниками» на кубачинских камнях можно сопоставить мало похожего на него всадника на индо-скифской серебряной чашке, изданной Я. И. Смирновым, и приведя выписку из текста Смирнова о том, что «тип и одежда всадника на этой чашке находит себе аналогию на монетах китайско-тюркских», Башкиров немедленно делает поистине блестящее обобщение, давая тем самым пример мастерского доведения до абсурда правильной (у Смирнова) мысли: «Древняя монета, чашка, ткань или иные портативные памятники послужили образцами для кубачинских рельефов» (30).

В поисках излюбленных «прототипов» Башкиров считает нужным подыскивать их и для сидящей, как он говорит, «по-восточному» (т. е. попросту — поджав ноги) фигуры. Ссылаясь в своем перечне на серебряное Строгановское блюдо (в Эрмитаже), он сообщает: «здесь мы видим один из прекрасных [?] прототипов для композиции кубачинского тимпана» (32). Хорошо еще, что несколько ниже он спохватывается: «окружающая жизнь для многих мотивов была еще более близким образцом». Но если Башкиров непременно хотел вспомнить Строгановское блюдо, то следовало сделать это по поводу камня на таблице 23. Там, действительно, есть сходство, а человек на тимпане ничем решительно не похож на человека на Строгановском блюде.

Поучительно узнать, как автор обращается с самими памятниками, как он их описывает и характеризует. «Эти растительные разводы украшают и монументальные памятники и мелкие вещи прикладного искусства, опутывают столбы колонн с капителями, обрамления окон, дверей, идут по горизонталям карнизов, ползут по аркам и мелким тягам, взлетают к вершинам сводов и расстилаются по плоскостям стен, причудливо разнообразя их скучные поля, нежно и просто, а иногда пышно и роскошно [?!] смягчая их суровость» (29 — 30).

При описании отдельного памятника Башкиров иногда скромно довольствуется сравнительно меньшим количеством слов, что, однако же, не лишает описание красочности. У льва «своеобразно обозначена лопатка правой передней ноги: здесь изображен большой овальный щит, поле которого сплошь заполнено стилизованными, засушенными, растительными лилиевидными побегами, образующими ромбовидные геометрические формы, окруженные и заполненные мелкими завитками усиков побегов» (54). Прочтешь — и памятник встает перед глазами, как живой!

Когда Башкиров решается взять более деловой тон в описании, его описания нередко из бесполезных становятся способными ввести в заблуждение. Описывая изображение человека в накидке, Башкиров сообщает, что «над плащем даны легким рельефом длинные и широкие панцырные наплечники, спускающиеся до локтей» (18). Никаких наплечников нет, да и не бывает таких панцырных наплечников, здесь — шуба с рукавами, рукава видны вполне отчетливо и на подлиннике и на таблице 18, а на рукавах имеются нашивки, так как тут изображен феодал; эти-то рукава Башкиров принял за «панцырные наплечники».

Несмотря на утверждения Башкирова, что памятники изучались им «по натуре и частью in situ» (6), он дает основания усомниться в этом и утверждать, что описания делались по фотографиям, иногда не вполне удачным, хотя была возможность описывать камни не in situ, но «по натуре» в Москве. Описывая зверя на таблице 44, Башкиров сообщает: «основание крыла трактовано в виде плоской головы дракона с раскрытой пастью, из которой, как из лопатки животного, выступает правая передняя нога» (48); не говоря о том, что ни у каких животных ноги не выступают из «лопаток», у данного зверя «в основании крыла» нет никакой драконьей головы: крыло как крыло. В другой сцене, изображенной на таблице 45, по словам Башкирова: «хищник, схватив лань зубами за шею, бьет ее правой лапой по морде» (48); побои — измышление Башкирова, описывавшего памятник по фотографии, хотя камень был вывезен им в Москву и пролежал там около года. Камень, изображенный на таблице 7, также описан по фотографии (хотя и он был в Москве), и Башкиров на фотографии усмотрел всунутый в колчан топор, к которому, разумеется, подобрал аналогии; на подлиннике никакого топора нет, линии же, видные в верхней части колчана (если считать их за изображение вложенного в колчан предмета), имеют скорее вид кирки, а шанцевый инструмент, как известно, не входил в снаряжение «конника».

В описаниях Башкирова нельзя полагаться даже на определение, как он говорит, «персонажей». Как в растительном мире Башкиров облюбовал лилию (называя так растения самых разнообразных форм), так в животном мире ему всюду чудится олень. На таблице 73 (наш рис. 1) вместо дикого козла в ошейнике с лентами он видит оленя с ветвистыми рогами (59), на таблице 74 (наш рис. 3) вместо дикого козла — опять-таки оленя (60), зверя кошачьей породы на рисунке 20 он принимает за лань (61); при этом Башкиров иногда еще поправляет чужие «ошибки»: на рисунке 19 (наш рис. 4) по атласу Дорна изображен обыкновенный длинноухий заяц, что видно и на нашей фотографии 3, но Башкиров сообщает: «рисовальщик ошибся, он передал под видом зайца оленя» (61).

Функция памятника, даже архитектурного фрагмента, автора не интересует. Неучет функции и неизменно неряшливое отношение к исследуемому материалу приводят автора к невероятным недоразумениям. Любопытны его пространные рассуждения о камне, изданном на таблице 74 (наш рис. 3). Этот камень вместе с двумя другими (наш рис. 1 и 2) дал повод

автору для углубленного «социологического» анализа и для раскрытия «социального смысла» этих памятников в поэтических и достаточно напыщенных выражениях. Мне кажется необходимым привести здесь это стихотворение в прозе: «В центре тимпана (наш рис. 1), в обрамлении многолепестковой розетки со стрельчатой арочной вершиной, изображен в изящных и стройных формах крылатый олень, упавший на передние колени. К сожалению, у него отбита голова и ветвистые рога. Олень, изгибаясь, наклонился к земле, отчего зад его оказался сильно приподнятым на высоких сильных стройных ногах; из передней лопатки выходят нога и крыло, в виде ветки лилиевидного развода... На одном архитектурном фрагменте, найденном в Кубачах, дано изображение другого крыла того оленя [наш рис. 2];[1] он представлен в сильно возбужденной позе на фоне богато развитого лилиевидного орнамента в обрамлении четырехлепестковой розетки (табл. 76) со стрельчатыми вершинами. Олень, опираясь на задние ноги, «бьет землю» передними ногами. Его короткое туловище, мускулистое и гибкое, на сильных ногах, несет высокую шею, на которой прекрасно трактована запрокинутая кверху голова, с открытой пастью, выпуклыми округлыми глазами и эффектно-живописными ветвистыми рогами; из бедра передней ноги торчит кверху небольшое крыло в виде лилиевидной ветки. Чудесный олень рвется на волю и тщетно бьется, устремляясь разорвать сковывающую его красивую плотно замкнутую рамку. Ему тесно, он задыхается, в отчаянии он бьет землю ногами, пасть его открыта, глаза от напряжения на выкате. На архитектурном же фрагменте [наш рис. 3] уцелело еще одно изображение упавшего на передние ноги крылатого оленя, в многолепестковом обрамлении (табл. 74). Гибкое стройное туловище животного рвется вперед, он падает на подкосившиеся ноги, «как подстреленный»; голова запрокинута кверху; задняя часть поднята вверх на широко расставленных в беге ногах, короткий хвост торчит кверху. Во всей фигуре животного дана сила внезапно прерванного движения. Сюжеты последних описанных нами памятников можно трактовать как сцены охотничьего цикла на сказочного крылатого оленя. В горных легендах Кавказа много сказаний о крылатых оленях. Эти легенды были заимствованы для своих целей и христианской религией и исламом. И в сказке, и в изобразительном искусстве олень, да еще крылатый, трактуется как символ свободы и независимости гор. Олень, полный сил, красоты и изящества, подбит в минуту своего свободного движения; мучительно запрокинув голову назад, с тоской во взоре, он упал на колени... [Многоточие автора]. Его окружила крепкая, изящная, искусственная, симметрично построенная рамка... определенного стиля, как человека «страны гор» — рамка ислама, и не только сковала, но и окружила его нечитаемыми знаками,[2] приносящими народу чуждую культуру, чуждую по племени, эксплуататорскую классовую культуру, «освященную» религией сильных, религией правящего класса. Крылатый олень — это свободный народ гор, скованный всевозможными рамками рабства, «освященными» религией и при ее участии адатом, втиснутым в народ господствующими классами. Народ, пораженный и упавший, опутан вьющимися лилейными условностями... [Многоточие автора]. Вот тот социальный смысл последних интересных изображений дагестанской пластики. Проявление их в искусстве понятно. Поработители гордо выставляют символ скованной свободы народа, а порабощенные

Рис. 2

через искусство помнят, часто не говоря, о своей пораженной и почти сказочной свободе. Искусство же, как глубоко социальный фиксатор, отражает жизнь, хотя бы и в полуреальных образах» (59 — 61). Во всех этих социологическо-лирических упражнениях Башкирова отпала бы надобность, если бы автор дал себе труд поинтересоваться (тем более, видя перед собою подлинный камень, а не фотографию), что именно представляет собою этот архитектурный фрагмент. Если бы Башкиров не создал из него архитектурной бессмыслицы (имея в виду архитектурные формы памятников Кубачи) и не поставил его горизонтально, а поставил его вертикально, как мы это делаем на рис. 3, то он получил бы правильную постановку камня, представляющего собою правый (от зрителя) боковой устой двойного окна, характерной и обычной формы, такого же типа, как окно на таблице 48 и как несохранившиеся окна, фрагментами которых являются полукруглые камни на таблицах 71, 73 и др. При взгляде на наш рис. 2 сразу выявляется безудержная веселость скорбного рассуждения Башкирова о горьких судьбах вольного народа гор. Выявляется и развязность в описании памятника: не следует говорить об олене, когда изображен козел; мудрено говорить о «тоске во взоре» оленя, изображение которого (как видно и по таблице у Башкирова, и по нашим рисункам 1 и 3, и по подлиннику, выставленному в Эрмитаже) не сохранило головы; мудрено говорить о спутанных ногах, когда ноги не спутаны и свободны; мудрено говорить об «упавшем как подстреленный на подкосившиеся

[1] Этот и другие рисунки к моей статье выполнены В. Н. Кесаевым.

[2] Тут Башкиров явно смешивает два камня (рис. 1 и 3).

ноги» звере, который в действительности делает прекрасно переданный резкий прыжок вверх и т. д., и т. д. Что же при таких условиях остается от выявленного «социального смысла» этих памятников?

Но забудем о подлинной функции камня (рис. 3) и об определяемом ею положении тела зверя, вместе с автором повалим этого зверя на колени и посмотрим, каков смысл рассуждений Башкирова.

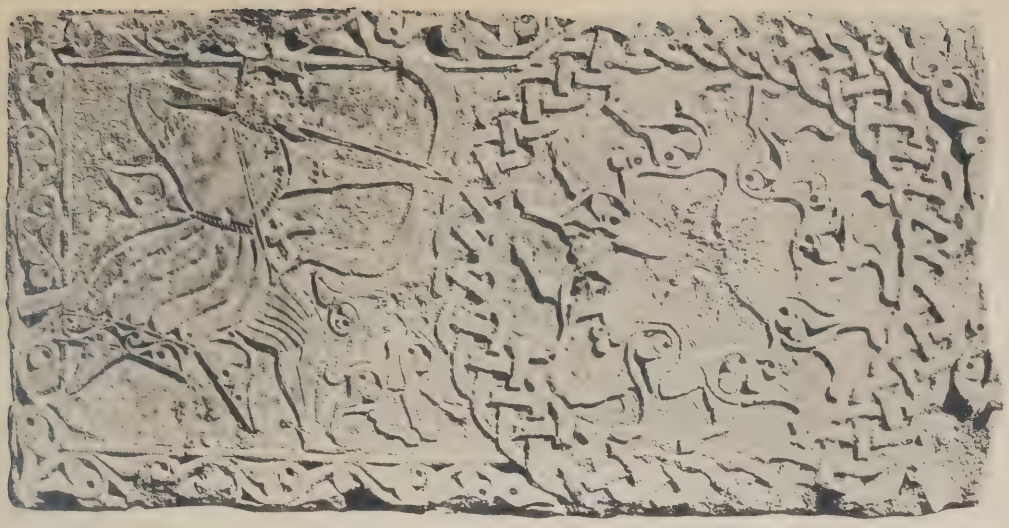
«Поработители» — какие-то мистические фигуры, неизвестно откуда взявшиеся и, очевидно, не принадлежавшие к свободному народу гор, «гордо выставляют символ скованной свободы народа». Башкиров не задается вопросом о происхождении этих поработителей, об «этносе», к которому они принадлежат; но это какие-то чужеплеменные элементы, которые откуда-то пришли, поработили вольный народ гор, да еще гордо запечатлели это порабощение. Автору невдомек, что эти поработители, в условиях времени и места, — свои же феодалы, тоже из вольного народа гор. Но изумительно и трогательно единомыслие, вернее — единое и дружное выражение поработителями и порабощенными диаметрально противоположных целеустремлений: «поработители гордо выставляют символ скованной свободы народа, а порабощенные» — тоже не дураки — пользуются случаем и «через искусство помнят, часто не говоря, о своей пораженной и почти сказочной свободе». И волки сыты, и овцы целы: и поработители горды, и порабощенные помнят. И все — вокруг одного не думавшего падать на колени козла!

«Искусство же, как глубоко социальный фиксатор [?!] , отражает жизнь, хотя бы и в полуреальных образах». Так искусство, увлекшись своей фиксаторской ролью, становится выше и поработителей и порабощенных, оно — внеклассово, оно — нелицеприятное зеркало истории.

Теперь два слова о свободном народе гор. Что это за вольный народ и откуда он взялся? Взялся этот свободный народ гор, конечно, не из анализа дагестанских камней и не из анализа народных сказаний Кавказа, это — отголосок тех романтических псевдокавказских перепевов, которыми отмечено весьма значительное течение русской литературы эпохи покорения Кавказа. Лермонтовым и Марлинским отдает это рассуждение и это определение.

А теперь об исламе. Башкиров не чужд учета значения религиозного момента, а поскольку речь идет о Дагестане — в первую очередь ислама, но ислам этот у Башкирова появляется, как deus ex machina или, вернее, как бес из сказочной черной бутылочки, совершенно неожиданно и без какой бы то ни было связи с обстановкой и средой. Башкирова мало озабочивает вопрос, в какой мере применимы рассуждения об исламе к среде, в которой возникли кубачинские рельефы; он даже не задается вопросом, действительно ли эта среда исповедывала ислам, и если исповедывала, то в каком именно его облике (как известно, ислам не представляет собою единого целого на всем протяжении от Магомета до наших дней, от Испании до Тихого океана). Изображение крылатого оленя в рамке наводит автора на печальные размышления об участи оленя: его окружила крепкая, изящная, искусственная, симметрично построенная рамка, из которой ему, раненому, трудно вырваться; сковала его рамка определенного стиля, как человека «страны гор» — рамка ислама» (60). Трудно было бы найти менее подходящий повод для рассуждений о сковывающем влиянии ислама, чем дагестанские рельефы. Автор не подозревает, что именно эти камни понуждают в корне пересмотреть вопрос о якобы господствующем положении правоверного ислама в той феодальной среде, для которой эти рельефы высекались, что даже поправки на шиизм, даже учет обилия человеческих изображений в шиитской среде (хотя бы в Персии) не разрешает вопроса о возможности определения среды, в которой возникли эти кубачинские памятники, как среды мусульманской. Ведь если бы что должен был или в силах был сковать здесь ислам, то в первую очередь он сковал бы руки того сына «страны гор», который высекал изображения «меланхолично», по наблюдениям Башкирова (61), идущей свиньи на не менее чем четырех камнях из Кубачи, камнях, ни по технике резьбы, ни по стилю не отличающихся от десятков сродных плит с другими изображениями, сковал бы и в том случае, если бы сам мастер был мусульманином, и в том случае, если бы мастер не мусульманин работал на заказчика-мусульманина. Как бы меланхолично ни была настроена свинья, ее присутствие на памятнике искусства, скованного исламом, невероятно. Если Башкирову кажутся определяющим конфессиональным признаком «нечитаемые знаки», «наборы арабских букв» на плитах с рельефами и в том числе — с изображением свиньи (табл. 71), то ему следовало бы поинтересоваться, действительно ли эти надписи «мусульманские» и на каком языке они написаны, учтя при этом, что арабским письмом для передачи арабского текста, а тем более текста на других языках, пользовались, да и пользуются не только мусульмане. Если бы Башкиров по существу вдумался в свои же сетования на ислам, он, вероятно, нашел бы что прибавить к бесстрастному сообщению, что «почти все памятники сильно фрагментированы, изображения живых существ имеют сбитые (нарочито) головы, в особенности человеческие лица и морды животных»... (13). Вот тут и надо было пояснить, почему это кубачинские рельефы «нарочито» обломаны, тут и надо было вспомнить об исламе и, заодно, уяснить себе соотношение несовпадающих моментов создания данных памятников в определенной среде и воздействия на эту среду ислама, во всяком случае — его течений, господствовавших с известного времени в Дагестане.

Что же касается сочувственных к оленю рассуждений Башкирова и истолкования обрамления как символического изображения суровой рамки ислама, сковавшей «свободный народ страны гор», то нельзя не отметить неуместности «идеологического» истолкования подобных обрамлений вообще и в частности в декоративном восточном искусстве. Автору, очевидно, не пришло в голову, что здесь-то и нужно было говорить о воздействии прикладного искусства, о воспроизведении в камне накладных металлических и иных пластинок, тем более, что во многих камнях из Кубачи имеются и гнезда по форме «рамочек», очевидно, для вставления сделанных из другого камня или иного материала деталей. Следовало вспомнить о тех ярких и пестрых накладках, которые восточное и в частности персидское и турецкое декоративное искусство применяло для расцветки гладкого фона ткани, ковра и т. п.; они сохранились не только в виде так называемых медальонов или гёлей на ковровых полях. Такие нашивки, вырезанные из куска драгоценного узорчатого бархата или парчи, часто в форме, очень близкой к нашему камню, сохранились в подлинниках в более поздних образцах XV — XVI вв., где мы имеем отдельные фигуры или сочетания человеческих фигур или животных на богатом растительном фоне. Но если даже это все осталось неизвестным Башкирову, он не мог не заметить, что на кубачинских памятниках не только олень, символизирующий в воображении автора «свободный народ гор», но и многие другие животные и птицы, не снискавшие горячо сочувственного к ним отношения Башкирова, тоже заключаются в обрамления, не менее для них стеснительные, чем рамка вокоуг оленя; достаточно взглянуть на зайца (фот. 3 и рис. 4) и на других многочисленных зверей, изображенных в книге Башкирова. Символом чего же, какого именно и кем и чем именно скованного народа является этот



1

2

3

4

Фототипия Ленполиграфтехникума

заяц или двуглавый орел (находящийся сейчас на выставке в Эрмитаже и воспроизведенный в книге Башкирова на стр. 62) и все другие звери и птицы?

Башкиров не высказывает никакого сочувствия и к «скованному» такой же тесной рамкой человеку, изображенному у Башкирова по рисунку из атласа Дорна (22): рамка и тут «сковывает» заключенную в нее фигуру, а между тем трудно сказать, чтобы человек этот имел основания чувствовать себя плохо, и это несомненно не «порабощенный», а феодал в богатом наряде; судя по оплечью, он носит шапку и, по выражению автора, «руки держит фертом» (в действительности положил руки на бедра). Мы его воспроизводим по фотографии с подлинника, находящегося в Париже (фот. 4). Не более стесненным в сковывающей его тесной рамке «чувствует» себя воспроизведенный в книге Башкирова (по рисунку из атласа Дорна) человек «в пышной широкорукавной одежде, с ритонообразным кубком в левой руке, протянутой вперед, и с кувшином в правой, опущенной книзу» (20). Напрасно автор стремится скрасить долю этого человека, говоря, что он изображен «под стрельчатой грехлепестковой аркой»: он сидит в рамке, в чем нетрудно убедиться, взглянув на рисунок, но рамка тут имеет иную, внизу прямую форму, потому что эта композиция помещена у подножия столбика. А страждущий олень попал на середину такого же столбика, и в этом все его несчастье, также как и несчастье человека, впрочем, благодушно сидящего в точно такой же, как у оленя, рамке на столбике (среднем) на таблице 48. Такая же рамка не мешает чувствовать себя прекрасно и весело плясать и людям, которых описывает Башкиров (стр. 31—32, табл. 17), хотя эта рамка бесспорно стесняет их движения; но здесь Башкиров мягко называет эту сковывающую рамку «четырехлепестковой розеткой».

Почти вся книга Башкирова — книга о зверях и птицах, изучая изображения которых, не то сознательно увлекшись зоопсихоанализом, не то ощутив в виду «центрической экспрессии» этих изображений переживания описываемых им зверей и птиц, Башкиров раскрыл перед читателем картины этих переживаний. «Лев дан в профиль, в сильно возбужденном виде, идущим влево» (57); «три льва в оживленных позах» (57); «два орла с открытыми клювами, они кричат, привстав на одной лапе, геральдически приподняв другую» (74); о переживаниях оленя мы уже читали. Но особенно интересно раскрытие умонастроения кабана, или попросту свиньи: «Кабан меланхолично шагает вперед, опустив книзу и голову и хвост» (61); боюсь только, что «меланхоличный» облик кабана и опущенная вниз голова объясняются не его подавленным умонастроением, а той особенностью свиней, которую уже давно отметил Крылов в известной басне. Сумев проникнуть в психологию животных, Башкиров не овладел элементарными основами их анатомии. Хотя, как известно, все четвероногие обладают одной парой «лопаток», размещенных всегда без исключения в передней части тела, щедрый Башкиров снабжает львов двумя парами лопаток: «на левой задней лопатке выгравированы ее [это — лопатки?] складки волнистыми линиями; лопатка передней ноги обрамлена...» (57). С лопатками у Башкирова вообще дело не клеится: «на туловище льва около гривы своеобразно обозначена лопатка правой передней ноги» (54). Повидимому, Башкиров полагает, что бывают не только «волосы до плеч», но и «плечи до волос». Со спиной тоже не ладится: «из спины туловища торчат... крылья» (73).

Названия частей человеческого тела тоже не вполне ясны для Башкирова, описывающего «длинную до голеней одежду» (19), очевидно, забывая, что голень — не локоть и не колено и имеет довольно значительное протяжение.

Башкирову, вероятно, неизвестно, что у львят не бывает гривы, как у мальчиков не бывает бороды: как бы ни было мало или миниатюрно изображение льва, наличие гривы указывает, что изображен взрослый лев. Наблюдения же автора над «двумя львятами», у которых головы «даны на высоких шеях, покрытых молодой гривой из небольших локонов, в виде ожерелья с привесками» (38) — плод недоразумения, результат того, что автор описывает камни не «по натуре», а по фотографии: у этих львов грива как грива.

Увлечение раскрытием звериных переживаний заслонило от Башкирова и другую, пожалуй, более важную задачу — раскрытие смысла этих изображений, их генезиса, причин, обусловивших их господство в искусстве «эпохи производственных взаимоотношений феодального общества Востока и Запада», смысл всех этих «геральдически поднявших лапу», «адорирующе гарцующих» и «устремленно гарцующих» «персонажей» — зайцев, львов, орлов, ланей, медведей, кабанов, в том числе и «меланхолично» настроенных.

Верный «классической» школе, Башкиров, решившись раскрыть смысл этих изображений, сразу находит излюбленную исходную точку: «эти произведения несут роль [?!] апотропеев» (75), и Башкиров приводит примеры этой «охранной апотропеической скульптуры» (75). Это — торчащие из стены изображения зверей, вернее — звериных голов, иногда всей передней части тела. Кого же должна была устрашать торчащая из стены голова лани, кому она была страшна? Или кого должна была устрашить благообразная, с тщательно подстриженной бородой и, так сказать, вполне корректная человеческая голова? Но Башкиров не ограничивается голым утверждением, он приводит и обоснование своей «апотропеической теории»: «рядом с величавой и гордой поступью хищников, полных самоуверенности, выказывается постоянная потребность в яростном устрашении, что говорит и о том, что власть верхушки феодального общества неспокойна за свою судьбу» (45).

Объяснение — очень интересное и наводящее на мысль, что в ближайшие дни нужно ждать резкого поворота в направлении искусства господствующих классов Западной Европы и Америки. Мы должны будем явиться, если следовать Башкирову, свидетелями небывалого расцвета в искусстве, обслуживающем господствующий класс, нового звериного стиля с «яростно устрашающими сюжетами», так как едва ли когда-либо верхушка феодального общества «эпохи производственных взаимоотношений Востока и Запада» имела такие серьезные основания быть «неспокойной за свою судьбу», как капиталистический мир сейчас.

«Классицизм» Башкирова сказывается вообще в перенесении в обстановку Дагестана XI—XIV вв. образов и понятий далекой античности ценою явного насилия над фактами и обстановкой.

Созерцание пляшущих фигур, независимо от того, где, как и почему или для чего они пляшут, вызывает у Башкирова заготовленное еще в бытность его «классиком» определение: «танцы каких-то мимов» (17). А дальше само собою течет уже и соответственное рассуждение: «Плита с танцорами-мимами в четырехлепестковых розетках близка по сюжету к увеселительному цирковому циклу. Основной сюжет не новый» (31). Далее следуют «аналогии». Действительно, сюжет пляски никак ни нов, но при чем же тут мимы и цирк?

Цирк — образ, вообще преследующий автора. На безобразно воспроизведенном им тончайшем по работе камне (фот. 1) изображен стрелок; «он стреляет в круг из ленточной плетенки (ограда загона для зверей в цирке?), в котором помещены бегущие кругом, друг за другом, барсы или гепарды; перед стрелком у ног ручной гепард, у которого на конце хвоста

Рис. 3

лилия» (17). Башкирову безразлично, что у этого «пешего лучника» на рукавах нашивки, что он, следовательно, феодал и что ему делать нечего в несвойственных Востоку цирках: перед Башкировым вероятно встает образ императора Коммода, стреляющего в цирке в бегающих как на корде зверей и захватившего на этот раз с собою, на всякий случай, в цирк ручного гепарда, у которого, кстати сказать, хвост точно такой же, как у всех остальных зверей на этом камне.

У автора свой, ему лично принадлежащий, но еще не патентованный метод датировки памятников: «По витиеватости растительного орнамента этот памятник восходит к XIII в., об этом говорят и монгольские типы человеческих фигур» (34). Если следовать автору, придется признать его последний труд необычайно древним искусствоведческим исследованием: по витиеватости стиля он тоже должен восходить к XIII в.

Всем прочим качествам книги вполне соответствует ее язык. Как в «марксизме» и «социологическом анализе», так и в языке у Башкирова есть свой стиль. Стиль поэтический, местами патетический, при постоянном «стремлении трактовать [все] в стилистической вычурности» (44). Мы уже приводили образцы таких поэтических излияний Башкирова.

Излюбленный образ автора — «лилия» и «лилейный орнамент», «лилейные разводы» и даже «лилейные условности». Читая книгу Башкирова, убеждаешься, что не только бедный олень может запутаться в «лилейных условностях». В своих собственных лилейных разводах запутался и сам Башкиров. Автору трудно дается русский синтаксис, и, даже независимо от упомянутой уже неряшливой «поэтичности» языка, читатель натыкается на фразы, по меньшей мере неожиданные в тексте, написанном не иностранцем, а русским: «на большинстве памятников феодального общества мы наблюдаем пользование луком в правой руке по преимуществу» (27); «изучаемые нами памятники по натуре и частью in situ относятся по преимуществу к нагорной части Дагестана и в особенности к верхнему Кайтагу» (6 — 7); «медведица и медвежонок переданы идущими друг за другом в профиль, в силуэтных тонах и с пониманием натуры» (73); «на лицевой стороне льва представлены упомянутые животные и растительные композиции, локализованные в три сюжета в обрамлениях лилиевидных гирлянд» (48); «весь орнаментальный ансамбль плиты чрезвычайно оригинален по сочетанию отдельных композиций; но и в техническом своем оформлении, и в сюжетной компановке деталей, и в стилистических данных этот памятник не представляет обособленного явления» (69—70); «аттрибуты персонажей, одежда, кубки, кувшин сближают нас с утварью на Гератском бронзовом котелке во втором поясе, в росписи потолка Палатинской капеллы (кубки)» (34). «С владимиро-суздальскими рельефами могут спорить в близости к кубачинским памятники феодального периода южного Кавказа и Западной Европы» (43). Особенно назойливо и несвойственно русской речи звучит излюбленное Башкировым злоупотребление будущим временем вместо настоящего, особенно когда он приводит свои бесконечные аналогии. Не менее утомительно и злоупотребление двойственными сочетаниями слов, якобы уточненными, но очень часто просто бессмысленными выражениями.

Но и помимо этих стилистических вывертов или языковой беспомощности (трудно решить, с чем мы имеем дело) автора, язык Башкирова удручает своим словарем, подбором терминов и вообще слов, как будто нарочно избираемых не из общепонятной речи. Здесь мы встречаем в нетерпимом количестве иностранные слова, ни в какой мере не нужные в русской речи, имеющие обычные литературные русские соответствия. И обилие этих слов и их подбор просто наводят на мысль, что автор хочет блеснуть знанием слов, обычно значащихся только в словарях иностранных слов (но не в литературной речи). Однако своеобразное употребление этих терминов, зачастую просто неверное их применение заставляет думать, что либо словарь иностранных слов изучался автором невнимательно, либо словарь был уже очень плох. «Под хвостом летящего чудовища стоит женская фигура... голова ее имеет пышную шевелюру» (74). «Мотивы эти... имеют разнообразные персонажи: львы, разные птицы (орлы, павлины, голуби и др.), лани, овцы, грифоны, сфинксы, быки, козлы, драконы» (42). «Общий тип персонажей полон застывшего движения. Звери, птицы переданы надменно-яростными, с утрированной поступью ног» (44).

Даже обычное русское слово «происхождение» претит Башкирову, ему больше нравится «провенанс»: «несколько экземпляров представлено из Аварии и один памятник пока без точного провенанса» (7). Особенно забавно выглядит это французское слово в заголовке: «Фрагмент колонны неизвестного провенанса с рельефами» (71).

Мы уже знаем, что «искусство, как глубоко социальный фиксатор [?!] отражает жизнь» (61).

И слово «развалины» неприемлемо для автора: он говорит о «капителях руин Кутаисского собора» (63), забывая, что руины писал (с натуры или измышляя)

Hubert Robert и многие другие художники, что руины воспевались многими поэтами, особенно романтиками, а наука о древностях и история древнего искусства имеют дело с развалинами, а не с руинами; да и капитель-то все-таки принадлежит зданию, а не руинам или развалинам.

Башкиров изучал рельефы «по натуре и частью in situ» (6), забывая, что можно картины писать «с натуры», а изучать памятники должно в подлиннике или по подлинникам.

Для Башкирова неприемлемо и слово «рукопись», он предпочитает, так сказать, учено-звучное «манускрипт» (29). Башкиров не любит слово ризница, предпочитая «сакристию» (45).

Башкиров не различает «суммирование» и «суммарное рассмотрение»; после шести страниц описания и рассуждений, подводя итоги, он пишет: «Рассматривая суммарно кубачинские памятники данной серии...» (41). Впрочем, сходные по форме слова для Башкирова камень преткновения и в русском. Он упорно не различает глаголы «развеваться» и «развиваться»... с плащом, развивающимся за спиной» (25); «... состязание в стрельбе из лука в развивающуюся ткань» (27); «... пробить развивающуюся ткань стрелой вообще трудно» (28).

Своеобразно применяет Башкиров слово «багаж»: «Другой тип резных камней обнимает огромный багаж композиций тех же сюжетов» (9).

В авторе сильно чувствуется «классическая» закваска, при том несколько перестоявшая. Камень из раскопок в Ани с резьбой в трех квадратах у Башкирова обращается в «камень с тремя метопами» (35); очевидно, либо автор забыл, что называется метопами, либо его подвел словарь.

Люди, держащие рога для питья, у Башкирова называются «ритонофорами» (34).

Зная термин «геометрический орнамент», Башкиров, склонный к «утрированной поступи ног», смело образует глагол и подчиняет его действию не только «растение, загеометризованное в плетенку» (41), но и «загеометризованный символ дерева» (40). Хотя Башкиров использует слова, производные от «геометрия», у него весьма смутное представление о названиях элементарных геометрических фигур. То он говорит о «продолговато-квадратной каменной плите» (19), забыв, что квадрат всегда бывает равносторонним, а становясь продолговатым — перестает быть квадратом; то он рассказывает об «удлиненных квадратиках» (40); то он говорит о «трапециевидной доске» (37), когда на таблице 30 ясно видна прямоугольная плита.

Своеобразное представление у Башкирова и о горизонтальности, монументальности и масштабе: «следующий памятник... представляет композицию в горизонтально-монументальном масштабе» (51). Очевидно, при умении и привычке к вывертам можно заблудиться не только между трех сосен, но и между трех слов.

Башкиров не тверд и в вопросе о значении обычных архитектурных терминов: «фантастический зверь в раме с многолепестковой в виде фронтончика арочкой» (49). Едва ли ласкательное наименование способно склонить фронтон к изменению его формы и функции.

Не более точен Башкиров и в применении, казалось бы, близких ему формально-искусствоведческих терминов: «памятник с массовой сценой, передающей в рельефе изображение жертвенного пиршества, трактованного на продолговато-квадратной каменной плите» (19); «основная композиция рельефа трактуется так: в центре находится загеометризованный символ дерева» (40); «в технике гравировки трактуется обработка костяка у ребер... и, наконец, фантастические формы растительных мотивов, в особенности при стремлении трактовать их в стилистической вычурности» (44).

В погоне за возможностью поставить не одно, а два иностранных слова Башкиров становится особенно обстоятелен в описании: «в центре тимпана поясная мужская фигура изображена в фас — фронтально» (18). «Форма фронтальной позы человека весьма обычна в восточном искусстве» (32). Мы встречаем и памятник, имеющий «нарочито утрированную фронтальность, не лишенный экспрессии» (23). Остается только неизвестным, кто в каких целях или из каких побуждений «нарочито утрировал фронтальность» этой фигуры.

Не довольствуясь одним-двумя иностранными архитектурными терминами для описания совсем простой вещи, он нагромождает их три, не делая смысл более ясным: «архивольт тимпана Хуналла-мечети имеет во фризе 6 квадратов, разделенных (по 3) на две стороны круглой чашевидной розеткой (канеллированный фиал)» (16).

Иногда, повидимому, автор и сам не знает, что он хочет сказать мудреным иностранным речением: «детали его (рельефа) врезываются в материал и подчас маскируются реальностью» (42); «рельеф с изображением пиршества, возможно ритуального, трактуется с центрической экспрессией, вокруг треногого столика с хлебами» (33). «Центр» в языке Башкирова вообще совсем не то, что мы понимаем обычно, слыша или видя это слово: «в углах центра тимпана» (59).

В усвоенное русской литературной речью слово «геральдический» Башкиров влагает какой-то свой смысл, с трудом улавливаемый: «два орла с открытыми клювами кричат, привстав на одной лапе, геральдически приподняв другую» (74). Дальше мы узнаем, что эти же два орла переданы «в реалистических оттенках» (74). Башкиров своеобразно определяет и характер передачи мотива: «описанный рельеф дан в силуэтном порядке, детали — графически» (21). «Голова зверя очерчена в силуэтном порядке, с разинутой пастью» (56).

Но особенно повезло или не повезло в книге Башкирова одному слову, разнообразие значений которого составляет, бесспорно, тайну автора, это — адорация, адорировать: «[звери, птицы] обычно в позе поклоняющихся (адорация) символу, находящемуся между ними, и яростно охраняющих его. В них вложен яркий смысл адорации символу [?] «обожествленной» власти» (45); «львы прикасаются мордами к растительной схеме (адорирующая поза)» (37); «два геральдических льва, адорирующе-оберегающие растительный символ» (69); «устремляясь вперед, зверь приподнял левую переднюю лапу в адорирующей позе» (57).

Таким образом, «адорирование» может сочетаться с устремлением. А в другом месте мы узнаем, что на ящичке слоновой кости «изображается скорее адорирующе-гарцующая сцена», чем картина боя (25). «Гарцующий» — вообще излюбленный термин Башкирова, который различает «гарцевание» и «полугарцевание»: «поединок или состязание на конных игрищах... нельзя смешивать с близкими композициями иного содержания, например, с киевскими рельефными композициями Георгиев, на полугарцующих конях (иранская традиция типа адорации), с плащом, развивающимся [?] за спиной (фракийская традиция)» (25).

Кроме полугарцования, Башкиров различает еще и «спокойное гарцевание»: «тип одиноких кубачинских конников, спокойно гарцующих на стройных конях» (30).

В последней фразе мы уже встречаемся с другой особенностью языка Башкирова, с его любовью к архаизмам как в выборе слов, так и в словообразовании: «конник», «мечник», «лучник» и т. п. вот те слова, с помощью которых Башкиров излагает свои

мысли современному советскому читателю: «Лучник привстал в стременах и повернулся назад с упором левого колена в седло» (27); «прием стрельбы назад передан у лучника-кентавра» (28); «в живописи потолка Палатинской капеллы сохранилась композиция единоборства двух всадников-мечников на возбужденных конях» (25). Здесь Башкиров забывает, что слово «мечник» не определение рода оружия, а название должности, затем — почетный титул.

Не менее выразительно и понятно для современного читателя, не достигшего еще преклонного возраста, и определение положения тела человека: «руки держит фертом» (23). Очевидно, либо Башкиров думает, что современный читатель хранит в памяти славянские названия букв алфавита, либо он не знает, что встречающееся в русской речи определение «ферт» вовсе не предусматривает необходимости для такого «ферта» изображать букву Ф.

Особенно странно выглядят эти архаизмы и давно вышедшие из употребления выражения рядом с излюбленными автором иностранными словами: «Поясное изображение человека передает мотив сидящего фронтально с поджатыми ногами, пиршествующего человека с кубком в руках перед грудью (32). «Одинокие пиршествующие фигуры парные и даже тройка в разных позах, и чаще в фронтальных» (35). Наряду со всем этим Башкиров дает почувствовать свое знакомство с европейскими языками, так сказать, как таковыми: «образцом ловкости в стрельбе из лука могут служить лучники бронзовых дверей в Равелло dell'artista Barisano da Trani XII secolo» (27). Остается открытым вопрос, почему именно это, по мнению автора, вероятно, необходимое для понимания кубачинских рельефов пояснение показалось автору не поддающимся переводу с итальянского на русский язык (это, впрочем, единственный образчик итальянского языка в книге).

Язык автора богат и в смысле словотворчества, часто весьма неудачного: «трехкомпозиционный фриз связывается с рядом композиций других памятников Кубачей» (16); «все данные памятника говорят за то, что он однофасный» (54); «борцы одеты в длинные узкорукавные кафтаны с округлым [?] поясом» (14); «в богато расшитой, пышной широкорукавной одежде» (34, а также 18, 19, 20). А у человека, изображенного на нашей 4 фотографии, «на голове имеется низко-коническая шапка» (23).

Мне кажется, автору не следовало заниматься словотворчеством, поскольку ему трудно бывает справиться даже с обычными русскими словами. Мы узнаем, что у барсов на камне «хвосты с растительными окончаниями» (37), а у других барсов «хвост имеет растительное завершение» (56, 57) и что, наконец, бывают звери с «хвостом, законченным головкой дракона» (48); «посредник общего стиля эпохи — прикладное искусство» (43); автор отмечает, что «звери стоят на всех ногах с когтистыми ступнями» (37); мы читаем, что «лань трактована в реалистических тонах с небольшой оглядывающейся головкой на высокой шее» (18). Изделия из слоновой кости автор попросту называет слоновыми: фигура, «трактованная на слоновой пластинке месопотамского искусства XIII в.» (34, а также 31).

Помимо других недостатков, в стиле изложения автора есть какая-то фамильярность, развязность. Нужно ли в научном (во всяком случае, по мнению автора) издании упорно и многократно называть развалины общественного здания в ауле Кубачи «кубачинской ратушей», да еще бессвязно поясняя: «кубачинцы называют эту постройку «домом общинного совета» или, как мы ее прозвали [?!], «кубачинская ратуша» (36).

В плоскости развязности языка Башкирова приходится рассматривать и его своеобразную манеру сообщать в ему нравящейся форме собственные имена. Такой случай имеем при упоминании о знаменитой персидской фаянсовой вазе Эрмитажа. Она происходит из собрания долго жившего в Париже известного русского коллекционера Базилевского. Твердо помня, что имя Basile французское соответствие русского «Василий», Башкиров решил переименовать Базилевского в Васильевского (104).

Заканчивая обзор книги Башкирова, нужно отметить одно из основных его свойств, ярко сказывающееся на всем протяжении книги, это — страсть и способность к подражанию, но подражанию чисто внешнему образцам, которым он крайне неумело и с «утрированной поступью ног» стремиться следовать: головокружительные прыжки в сопоставлениях через целые материки и многие тысячелетия, характерные для Стржиговского, изобилие «аналогий», характерное для Б. В. Фармаковского, злоупотребление иностранными словами и варваризмами в грамматически правильной речи М. И. Ростовцева и т. д. и т. д. Но эти черты отражены автором в кривом и чудовищно увеличивающем зеркале его творчества, зеркале, запечатлевающем только гримасы, только недостатки оригинала. И даже «провенанс» имеет свой провенанс: он идет от председателей двух археологических учреждений, соперничавших в дореволюционной России, П. С. Уваровой и А. А. Бобринского.

Какое же общее впечатление от книги?—«Болотистый, мягкий, эластичный, растительный (лилиевидный) орнамент (45) в качестве методологических установок, «гарцующе-адорирующее» отношение к материалу и «опутанное вьющимися лилейными условностями» (61) изложение. Что касается научного багажа, то автором «рядом с величавой и гордой поступью хищников, полных самоуверенности, выказывается постоянная потребность в яростном устрашении» (45). Чудовищно извращенная передача элементарных положений марксистской теории, по существу — в корне противоречащая ей. Такое же извращенное восприятие положений яфетической теории. Бесцеремонное пользование научной терминологией, со вложением в установившиеся научные термины известного только автору смысла, или, нередко, и без всякого смысла. Бесцеремонное обращение с вопросами истории. Пустословие и лирические излияния в качестве социологического анализа. Полное бессилие в описании и характеристике памятников. Бессистемное и ни к чему, кроме нелепости, не приводящее нагромождение отовсюду нахватанных «аналогий». Неряшливый язык, местами карикатура на русский язык, с безудержным злоупотреблением иностранными словами, нередко с поисвоением им понятного только автору значения. Неосознание на всем протяжении книги, от первой до последней строки, задач построения своего же труда. Безграничная претенциозность и беззастенчивость — основные черты и содержания и формы изложения. Кому и для чего нужна эта книга? Что она дает и стоило ли затрачивать на ее печатание время, деньги, труд, типографскую краску и бумагу?

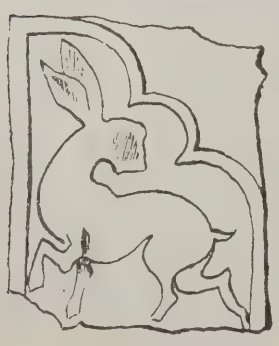


Рис. 4

Книга Башкирова — не результат спешной и срочной работы, не отстоявшейся и не отделанной. Появления ее ждали уже несколько лет, часть ее в несколько ином, более приемлемом виде была напечатана в сборнике в честь В. А. Городцова. Эта книга — результат длительных «изысканий» и трудов автора. И если в ней мы натыкаемся на такие горы «перлов»,[1] то не должна ли, естественно, возникнуть тревога за ту подготовку, которую автор, очевидно, не всегда имеющий возможность опираться на пятилетнюю проработку материала, изо дня в день дает будущей смене, за ту школу, которая создается вокруг этого «искусствоведа» и «востоковеда»?

Невольно рождается и другой вопрос. Если результаты этой долголетней работы таковы, если к такому концу пришел Башкиров в своих исследованиях после необычно длительной для него «оседлости» на одном материале, то не пора ли подумать о целесообразности дальнейшего развития системы лихих наездов Башкирова в самые разнообразные районы СССР для продолжения его «гарцующе-адорирующих» изысканий. Ведь, кажется, нет ни одного сколько-нибудь замечательного в археологическом отношении района, где бы эти изыскания Башкировым не производились, всегда с однородными по качеству научного истолкования результатами, правда, ни разу еще не формулированными с такой полнотой и откровенностью, как в этом новом труде об искусстве Дагестана.

Наконец, еще один вопрос. Не считает ли РАНИОН целесообразным, чтобы в переводах на иностранные языки, т. е. для обращения с заграницей, в странах, не склонных еще перестраивать свою научную работу на основе положений марксистской теории, не давались такие труды, которые (не говоря уже об их материальной недоброкачественности) способны создать совершенно превратное представление об усвоении советскими научными работниками марксистской методологии? Ведь не так много книг об искусстве у нас издается на иностранных языках и не так много книг носят видимость одобренности авторитетной Всероссийской ассоциацией научно-исследовательских институтов.

Книга Башкирова снабжена сокращенным изложением на английском языке, и ряд изречений Башкирова на тему о «производственных взаимоотношениях» («productive inter-relations») и по-своему им понимаемых общественных формациях отразился и в английском тексте, далеко не свободном от таких оборотов, понять которые можно, только зная русский язык. Достаточно сказать, что книга, посвященная автором десятилетию Дагестанской ССР, обратилась в книгу, написанную «для десятилетия» (for the tenth anniversary») или книгу «за десятилетие», «во имя десятилетия», что «народы Востока», изучению этнических и национальных культур которых отдает свои силы соответственный московский институт, обратились на титульном листе в «восточную публику» или в «восточных людей» («the people of the East») и что, наконец, сам автор приобрел на титульном же листе фантастическое англо-французское (т. е. не английское и не французское) наименование, уж никак не выражающее той мысли, которая влагается в русское наименование автора «действительный член института А. С. Башкиров».

[1] Количество приведенных образчиков можно было бы увеличить во много раз, но пришлось бы перепечатать всю книгу — около 115 000 знаков печатного текста.

И. И. Смирнов

Возможна ли „марксистская история материальной культуры"?

(По поводу книги В. И. Равдоникаса „За марксистскую историю материальной культуры", 1930).

Считая правильной по существу критику И. И. Смирновым работы В. И. Равдоникаса в части определения последним предмета истории материальной культуры, редакция отмечает наличие в критике И. И. Смирнова ряда загибов левацкого характера. На стр. 44 И. И. Смирнов впадает в меньшевиствующий идеализм, отождествляя совокупность вещественных памятников (остатков) с общественно-экономической формацией общества. Аналогичную ошибку И. И. Смирнов допускает на стр. 44 («культурный комплекс является конкретным выражением воззрения на общество как на некий механический аггрегат»). В данном случае И. И. Смирнов не различает предмета изучения (общество) от источников изучения (вещественных памятников), т. е. «слева» восстанавливает правильно раскритикованную им ошибку В. И. Равдоникаса смешения отношений с вещами (памятниками). Грубой ошибкой является отрицание И. И. Смирновым возможности пользоваться сравнением как приемом исследования (стр. 44). Дело в неприемлемости буржуазного приема *формального* сравнения. Такой же ошибкой является отрицание И. И. Смирновым необходимости пользоваться палеонтологией речи (стр. 45). Этим И. И. Смирнов сбрасывает со счетов один из важнейших источников изучения прошлого — лингвистические данные. Ссылка на В. Б. Аптекаря и С. Н. Быковского в данном случае совсем не к месту, так как в работе последних указывается на недопустимость противопоставления и замены марксизма каким-то особым яфетидологическим методом, тогда как в области лингвистики речь может итти только о конкретизации метода диалектического материализма. Палеонтология речи — один из приемов использования лингвистических данных как одного из исторических источников для изучения прошлого общества. Расправляясь с палеонтологией речи, И. И. Смирнов объективно возвращает нас к худшим традициям буржуазной науки искусственного расчленения источников и частичного их использования. Таким же образом не понят И. И. Смирновым прием имманентного истолкования вещественных остатков (стр. 45). На стр. 45 И. И. Смирнов смешивает вопросы изучения развития общества по лингвистическим данным с вопросом об истолковании лингвистических явлений. Совершенно неприемлем один из конечных выводов И. И. Смирнова — отказаться от попытки сконструировать марксистское понятие истории материальной культуры и заменить его понятием истории техники (стр. 46). Вопреки мнению И. И. Смирнова, история техники не заполняет «провала», «образующегося в системе общественных наук». Областью истории материальной культуры является материальное производство, и такая отраслевая историческая наука столь же нужна и полезна, как и история техники. Что марксисты должны уделить особое внимание разработке истории техники, в этом, конечно, И. И. Смирнов совершенно прав. *Ред.*

И по своему заголовку и по содержанию книга В. И. Равдоникаса заслуживает внимания и серьезного разбора со стороны историка-марксиста.

В. И. Равдоникас начинает свою книгу с констатирования факта, что в противоположность истории археология не имеет ничего подобного блестящим историографическим работам М. Н. Покровского, работам, вскрывающим классовое содержание концепций буржуазных историков; не имеет также и критики основ буржуазной археологии; не ясно даже, чем заменить ее.

Своей целью в разбираемой работе В. И. Равдоникас считает «положить начало... научной самокритике в области археологии и истории материальной культуры». С другой стороны, «чтобы иметь твердую базу для критики и самокритики, уместно будет сжато и отчасти дискуссионно изложить важнейшие требования марксистской методологии в археологии, как они рисуются в данный момент» (стр. 12).

Итак, В. И. Равдоникас не только занимается самокритикой и критикой буржуазного археологического наследства. Он формулирует также и те позиции, с которых он ведет огонь по археологам-буржуа.

В настоящей статье мы не будем касаться критической, историографической части работы В. И. Равдоникаса. Здесь мы найдем ряд правильных и остроумных мест. Мы остановимся на методологической части работы В. И. Равдоникаса. Эта часть вызывает целый ряд возражений, сомнений по поводу того, что позиции, с которых В. И. Равдоникас критикует буржуазную археологию, являются марксистскими.

«Узость и неудовлетворительность старой вещеведческой археологии заставили в советское время ввести у нас другое название: «история материальной культуры», — предполагалось, для новой науки, но ни предмет, ни задачи последней до настоящего времени выяснены не были, и под новым названием открыто процветало старое содержание и старые формы работы. Для правильной ориентировки в новых исследовательских задачах необходимо прежде всего достаточно точно решить вопрос о том, *что такое история материальной культуры как наука, каковы ее методы, каково ее отношение к старой археологии и к другим наукам — к истории, к этнографии, к экономической науке, к социологии и пр.* (стр. 13. Курсив мой. *И. С.*)

Итак, что такое история материальной культуры, каков ее метод и место в системе общественных наук? Наши недоумения начинаются уже после того, как мы ознакомимся с пониманием В. И. Равдоникасом категории «материальной культуры». Дадим ему слово: «Материальная культура людей возникла и развивалась в условиях их общественной жизни и представляет *совокупность вещественных результатов общественного труда человечества, овеществленный человеческий труд.* Образно и в самой общей форме выражаясь (но отнюдь не в духе органической школы Спенсера — Лилиенфельда), материальную культуру можно уподобить материальному скелету общества — сравнение, наиболее естественное для археологов. Сюда войдут прежде всего, конечно, средства производства, особенно его техника, оружие, все так называемые предметы быта, хотя бы и относящиеся к явлениям надстроечного порядка, например — украшения, предметы искусства и религии, рассматриваемые с указанной стороны, входят в состав понятия материальной культуры» (стр. 13—14). Ниже В. И. Равдоникас определяет «общественную материальную культуру» как «вещный мир общества» (стр. 14, 18).

Определение «материальной культуры» как «совокупности результатов общественного труда человечества», как «вещного мира общества» — не ново.

Это определение типично для буржуазных историков культуры, этнологов, этнографов.

Так, у П. Ф. Преображенского мы читаем: «Культура есть своего рода конкретная материализация общества в труде последнего».[1]

«Культура», дает определение Турнвальд, «есть как бы осадок человеческой деятельности».[2] Наконец, такой типичный представитель буржуазной науки, как Ратцель, дает «перечень элементов культуры — инвентарь общего культурного достояния человечества», очень близкий к элементам материальной культуры В. И. Равдоникаса.

Ратцель:[3]	*Равдоникас:*
Огонь.	Средства производства.
Охота.	Особенно техника.
Рыбная ловля.	Одежда.
Знакомство с дикорастущими растениями.	Жилище.
Пользование естественными продуктами мира животных.	Оружие.
Потребление опьяняющих веществ.	Все предметы быта.
Приготовление пищи с помощью огня.	Явления надстроечного порядка.
Украшения.	Украшения.
Одежда.	Предметы искусства, религии.
Жилище.	
Оружие.	
Ремесла.	
Земледелие.	
Приручение животных.	
Зачатки государственной жизни и права.	
Зародыш религии.	
Погребение мертвых.	

Определение В. И. Равдоникаса отличается от определения Ратцеля лишь более общей формой и марксистской терминологией. В основном же они целиком совпадают.

Основное в определении материальной культуры В. И. Равдоникаса — и именно это роднит его с вышеприведенными определениями буржуазных ученых — это эклектическое соединение в одно целое явлений, относящихся к совершенно разным областям общественной структуры. В самом деле, в «материальную культуру» у В. И. Равдоникаса попадают и производительные силы, техника, т. е. элементы базиса общества, его реального основания, и предметы искусства, религии — явления надстроечного порядка, относящиеся к области идеологии.

Что дает возможность В. И. Равдоникасу объединить в одно целое вещи, которые в действительности подчиняются совсем иной закономерности и находятся в ином соотношении друг с другом? Чисто формалистический подход к изучению общественных явлений. Явления базиса и надстройки В. И. Равдоникас соединяет в одно целое лишь на том основании, что и те и другие составляют «вещный мир общества». Этот своеобразный фетишизм вещи мешает В. И. Равдоникасу понять то, что, например, хотя мы не можем ощущать производственные отношения, они суть материальные производственные отношения, объективно существующие, а, с другой стороны амулет какого-нибудь шамана, несмотря на его осязаемость, относится к области высокой идеологической надстройки, к области религии.

Обосновывая правомерность категории материаль-

[1] Курс этнологии. Послесловие.

[2] Thurnwald. Primitiv Kultur. Reallexikon der Vorgeschichte, т. 10, стр. 264.

[3] Цит. по Г. Шуоц. История первобытной культуры, вып. 1, стр. 56, Москва, 1923.

ной культуры, В. И. Равдоникас объективно противопоставляет эту категорию основной категории марксистской социологии, категории общественно-экономической формации.

В противоположность категории материальной культуры, в которой эклектически соединены в бесформенный конгломерат различные явления общественной структуры, категория общественно-экономической формации вскрывает общие законы, управляющие развитием общества, устанавливает реальный базис общества в его материальных производственных отношениях, определяющих все явления надстройки.

Что В. И. Равдоникас не понимает учения Маркса и Ленина об общественно-экономических формациях, показывает следующее его рассуждение: «Именно в этой области лежит важнейшая задача истории материальной культуры: показать, в *какой связи и по каким меняющимся на каждом качественно новом этапе законам шло развитие материальной культуры в сплетении ее со всей сложной тканью общественного целого, в общем ходе развития социально-экономических формаций и в. сложении исторически-конкретных типов общества*» (стр. 14. Курсив автора. *И. С.*).

Если отбросить некоторую вычурность языка («сложная ткань общественного целого»), то смысл приведенного тезиса сводится к следующему: вещный мир общества («материальная культура») развивается по собственным законам, лишь переплетаясь с развитием общества, общественно-экономических формаций.

Вещи обладают самодвижением, саморазвитием.

В. И. Равдоникас прямо так и пишет: «В общественной материальной культуре, *в вещном мире общества мы имеем ту объективно особую форму движения*, в которой, по Энгельсу, нужно искать критерий для разграничения наук» (стр. 14—15. Курсив мой. *И. С.*). Это на вид сугубо материалистическое положение в действительности является чисто идеалистическим.

Что означают слова В. И. Равдоникаса, что «в вещном мире общества мы имеем объективно особую форму движения»?

Они означают, что В. И. Равдоникас не понял самых основ марксизма.

«Человеческая история тем отличается от естественной истории, что первая сделана нами, а вторая не сделана нами», читаем мы в знаменитом 89-м примечании к первому тому «Капитала».

«Люди сами делают свою историю». Такими словами начинает Маркс «18 брюмера».

Это значит, что «вещный мир общества» не представляет собою объективно особой формы движения.

«Само собою понятно, что *человек своею деятельностью изменяет* формы природных материалов в известном *полезном для него направлении*» (Капитал, т. I, 1931. Курсив мой. *И. С.*).

Следовательно, не из изучения вещного мира общества как такового должны мы выводить законы развития этого мира, а из изучения базиса общества, его материальных производственных отношений должны объяснять появление тех или иных орудий труда, не говоря уже о явлениях и вещах, относящихся к области надстройки.

Иллюстрирую это беспорное положение примером.

«Отмечу еще мимоходом», писал Маркс в письме к Анненкову, «что г. Прудон, так мало понявший историческое происхождение машин, еще менее понял процесс их развития. Можно сказать, что до 1825 г. — времени первого всеобщего кризиса — нужды потребления вообще возрастали быстрее, нежели производство, и что развитие машин властно обусловливалось расширяющимися нуждами рынка. После 1825 г. изобретение и применение машин обусловливается лишь войною между хозяевами и рабочими».[1] Итак, не «объективно особая форма движения вещного мира» двигала вперед развитие машин, а борьба классов. И лишь изучение борьбы классов покажет нам, что и машина выступает в истории как орудие классовой борьбы и развивается и совершенствуется в интересах господствующего класса.

Существо концепции В. И. Равдоникаса очень хорошо характеризуется следующими словами Маркса: «Чтобы найти аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Такую же роль в мире товаров играют продукты человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, раз только они производятся как товары, и который, следовательно, неотделим от всякого товарного производства.[2] Перефразируя слова Маркса, точку зрения В. И. Равдоникаса можно определить так: «Вещи сами делают свою историю». Но разве это не есть своеобразный фетишизм вещи?

Не менее характерно в вышеприведенной цитате из работы В. И. Равдоникаса понимание им категории общественно-экономической формации. Категория общественно-экономической формации превращается у В. И. Равдоникаса в какую-то пустышку, форму без содержания, какой-то фон, на котором имманентно развивается «вещный мир общества».

Установив содержание понятия «материальная культура», В. И. Равдоникас переходит к определению места науки, изучающей материальную культуру, — истории материальной культуры — в системе общественных наук. Эту проблему В. И. Равдоникас разрешает в аспекте установления соотношения истории материальной культуры и критической истории технологии, на необходимость создания которой указал Ф. В. Кипарисов в своем докладе 26 марта 1930 г. (не опубликован).

В 89-м примечании к первому тому «Капитала» Маркс ставит во весь рост проблему создания «критической истории технологии». «Критическая история технологии вообще показала бы, как мало какое бы то ни было изобретение XVIII столетия принадлежит тому или иному отдельному лицу. Но до сих пор такой работы не существует. Дарвин направил интерес на историю естественной технологии, т. е. на образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных. Не заслуживает ли такого внимания история образования производительных органов общественного человека, история этого материального базиса каждой особой общественной организации? И не легче ли было бы написать ее, так как, по выражению Вико, человеческая история тем отличается от естественной истории, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами? Технология раскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а, следовательно, и общественных отношений его жизни и вытекающих из них духовных представлений».[3]

Приведя это место, В. И. Равдоникас дает подробный его комментарий. Этот комментарий настолько интересен, что мы вынуждены привести его почти целиком. «Критическая история технологии», пишет В. И. Равдоникас, «не существует, как известно, и по сие время.

[1] Маркс. Нищета философии. Библиотека марксиста, 1930, стр. 162.
[2] Капитал, т. I, стр. 36.
[3] Капитал, т. I, стр. 312, издание 1931 г.

Чрезвычайно актуальна задача создать такую науку. И в историю материальной культуры история технологии войдет как важнейшая ее часть, долженствующая быть разработанной в первую очередь с максимальной мобилизацией сил.

«Но возникает вопрос: вполне ли история технологии покрывает историю материальной культуры? Если под первой наукой понимать историю общественной техники производства, включая сюда историю средств производства и производственных процессов, то ведь за вычетом всего этого в материальной культуре, в вещном мире общества остается весьма существенный остаток [?], прямо к категории средств производства не относящийся, — указанные выше предметы быта, жилища, одежда и пр. Этот остаток, предметы этой последней категории — имеют на первый взгляд [?] иную логическую природу и познавательную ценность, чем средства производства, — они не входят в состав производительных сил, хотя и являются необходимым условием существования важнейшей производительной силы — человека, как субъекта труда. Или, например, предметы украшения, предметы, отражающие идеологические представления, — магические изображения, тотемические звериные фигурки и т. п. — можно ли рассматривать их лишь под углом зрения истории технологии? Ведущую роль в истории материальной культуры играют, конечно, орудия труда... но предметы, не входящие в состав средств производства, нередко [?] также чрезвычайно ярко отражают и воплощают процесс общественного развития. Возьмем историю жилища... То же можно проследить на истории поселения в целом, на истории одежды, на истории потребления пищи, на способах украшения тела и т. д., и т. п.

«Указанная часть материальной культуры, по крайней мере та, которую нужно отнести к надстроечным явлениям, должна иметь свои собственные закономерности внутринадстроечного порядка, и выяснить эти закономерности необходимо. Может быть [!], частично это также дело истории материальной культуры, хотя более истории идеологии, истории искусства и т. д. Но в основном, мне кажется, и данная категория явлений материальной культуры охватывается историей технологии при широком толковании последней.

«Дело в том, что каждый предмет можно и должно брать вместе с процессом труда, результатом которого он является. Существенный вопрос — не *что* производится, а *как* производится — имеет все свое значение и в данном случае. Чтобы данная вещь могла возникнуть, нужно, чтобы существовал определенный процесс материального производства, вызванный к жизни всей совокупностью общественных условий данного места и времени, условий, изучать которые необходимо. Значит, изучая процесс производства вещи, мы все время должны иметь в виду и ее социальную значимость, а, стало быть, история технологии не сводится к узкому техницизму или к изучению только истории средств производства, но представляет действительно историю общественной материальной культуры людей».[1]

Комментарий этот интересен прежде всего, так сказать, психологически. Он дает возможность очень хорошо проследить ход мыслей В. И. Равдоникаса.

Как мы видели, комментарий послужил выяснению соотношения между историей материальной культуры и критической историей технологии.

Сначала В. И. Равдоникасу кажется, что «в историю материальной культуры история технологии войдет как важнейшая ее *часть*» (курсив мой. *И. С.*). Но после этого в ходе мыслей В. И. Равдоникаса происходит странная перемена, и его начинают брать сомнения. Возникает вопрос: «*вполне ли история технологии покрывает* историю материальной культуры»? (Курсив мой. *И. С.*) Отметим здесь, что по поводу этого вопроса у нас также возник вопрос: как может сомневаться В. И. Равдоникас в том, что история технологии не вполне покрывает историю материальной культуры, когда он только что заявил, что *история технологии войдет в историю материальной культуры как... составная ее часть?* Сомнение типа: может ли четвертушка бумаги покрыть собою вполне целый лист? — и показалось нам странным. Но наше удивление увеличивается, когда на следующей странице мы находим «разрешение сомнения» В. И. Равдоникаса. Установив, что орудия труда, несомненно, входят в состав материальной культуры, он исследует идеологические явления и приходит к следующему выводу: «Но в основном, мне кажется, и данная категория явлений материальной культуры [надстроечные явления. *И. С.*] всесторонне охватывается историей технологии при широком толковании последней». Пользуясь нашей аналогией, четвертушка (история технологии) превращается в лист, который (история материальной культуры) в свою очередь превращается в четвертушку (составную часть) истории технологии. Но, очевидно, сальто-мортале, которое проделывают в руках В. И. Равдоникаса история материальной культуры и история технологии, начинают ему надоедать.

Заключительное рассуждение В. И. Равдоникаса очень примирительно: «История технологии не сводится к узкому техницизму или к изучению истории средств производства, но представляет действительно историю общественной материальной культуры людей». Итак, в процессе рассуждения В. И. Равдоникаса целое становилось частью, часть — целым, но в итоге оба объекта мыслей В. И. Равдоникаса оказались равны.

Но это их равенство вызвало в нас мысль о том, чему равно все рассуждение В. И. Равдоникаса. Ответ мы нашли у Ленина. «Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем суть. *Эта гибкость, примененная субъективно, — эклектика и софистика*».

На этом мы остановимся. Конец ленинской заметки явно не подходит к рассуждениям В. И. Равдоникаса. Он гласит: «Гибкость, примененная *объективно*, т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира».[1]

Но наш психологический экскурс нужен был нам лишь для установления взглядов В. И. Равдоникаса на историю материальной культуры. Поэтому мы должны обратиться к исследованию содержания комментария В. И. Равдоникаса. Все это длинное рассуждение можно свести к двум тезисам: 1) История материальной культуры В. И. Равдоникаса и «критическая история технологии» Маркса по своим задачам совпадают. 2) История материальной культуры охватывает и явления надстроечного порядка.

Остановимся на аргументации В. И. Равдоникаса. Поистине надо обладать особой способностью, чтобы соединить первый и второй тезисы нашего автора.

В самом деле, каковы задачи критической истории технологии? Задачей критической истории технологии Маркс считает изучение «истории образования производительных органов общественного человека, этого материального базиса каждой особой общественной организации». Иными словами, Маркс ставит проблему создания истории общественной техники. Казалось бы, что если В. И. Равдоникас считает,

[1] Ук. соч., стр. 18 — 19.

[1] IX Ленинский сборник, стр. 71. Курсив в первой части цитаты — мой, во второй — Ленина. *И. С.*

что предмет «истории материальной культуры» совпадает с предметом истории техники, то это заранее исключает возможность включения в предмет «истории материальной культуры» истории надстроек. Но В. И. Равдоникас поступает как раз наоборот.

Правда, ему это дается не легко. Вначале он сам сомневается в возможности этого («предметы этой последней категории имеют на первый взгляд иную логическую природу и познавательную ценность, чем средства производства»), но В. И. Равдоникас быстро успокаивает себя следующим рассуждением: «Но предметы, не входящие в состав средств производства, нередко также чрезвычайно ярко отражают и воплощают процесс общественного развития».

Мы можем обрадовать В. И. Равдоникаса: не только «нередко», но даже всегда. Это азбука марксизма. Но тот факт, что все явления общественной жизни подчиняются законам развития общества в целом и отражают это развитие, — этот факт никому не давал оснований заявлять, что, например, в предмет литературоведения надо включить изучение законов земельной ренты, а в политическую экономию изучение законов развития искусства.

Чем аргументирует В. И. Равдоникас свою революцию в вопросе классификации наук?

«Дело в том», пишет он, «что каждый предмет можно брать вместе с процессом труда, результатом которого он является. Существенный вопрос — не *что* производится, а *как* производится — имеет все свое значение и в данном случае». Смысл этого рассуждения тот, что изучения процесса производства явлений надстроечного порядка достаточно для установления их закономерностей. Производство явлений надстроечного порядка! Одна эта фраза показывает всю неправильность рассуждений В. И. Равдоникаса. Основной порок его рассуждений в том, что для него, очевидно, не ясно, что явления надстройки — явления *общественного сознания*. И не производство общественного сознания должны мы изучать, а, обобщая слова Маркса о религии, «из отношений реальной жизни», т. е. из общественных отношений производства, выводить формы общественного сознания.

Рассуждение В. И. Равдоникаса представляет собой типический образец механистических взглядов по вопросу о «сведении», образец, на котором ошибочность механистической методологии видна наиболее отчетливо.

Но... положение обязывает. После того, когда В. И. Равдоникас включил в материальную культуру все, что он мог нащупать («вещный мир общества»), ему оставалось лишь два выхода: или согласиться с тем, что вещь надо изучать как вещь, или превратить явления идеологии тоже в... вещь. В. И. Равдоникас выбрал последнее.

Уже при разборе определения категории «материальной культуры» мы указали, что «вещи» довлеют над В. И. Равдоникасом. И при определении предмета «истории материальной культуры» В. И. Равдоникас, как видим, продолжил и углубил свою ошибку.

По существу же, борясь с вещеведческой археологией, В. И. Равдоникас, давая свое определение предмета «истории материальной культуры», находится в идеологическом плену у своего противника.

Ибо принцип вещи, лежащий в основе классификации В. И. Равдоникаса, и есть наиболее характерное для археологии — вещеведение.

Нечего и говорить, что такая классификация науки, какую мы имеем у В. И. Равдоникаса, является неприемлемой с точки зрения марксизма.

Очень хорошо подчеркнул всю неправильность буржуазной классификации наук т. Э. Кольман: «Два слова об общей проблеме — о проблеме классификации наук. До сих пор у нас нет классификации естественных наук. Это — одна из коренных, важнейших проблем, без решения которой перестроиться очень трудно. На днях мне один товарищ рассказал, что существует такая наука — гидробиология. Это — наука, трактующая о всем том животном царстве, которое населяет воду. Значит — о китах, о лягушках, о раках, амебах, о водорослях, о медузах. Все это изучает гидробиология. Это плохая штука. Существует институт этой гидробиологии, там люди занимаются, на это уходят большие деньги. Какая это наука?

«Или возьмем почвоведение? Что это за наука?.. До сих пор сами почвоведы не могут решить, куда эта наука принадлежит. Одни утверждают, что она принадлежит к естествознанию, другие говорят, что она чисто техническая, экономическая наука, третьи — что не надо учитывать такие-то факторы и т. д. Марксистской классификации здесь нет. Имеется старая буржуазная классификация, которая к нам механически перенесена.

«Дело не в том, чтобы дать абстрактное определение. Я прекрасно понимаю, что определения получаются в результате развития самой науки. Дело в том, чтобы правильно организовать, разграничить науки... Мы внутри каждой данной науки не имеем классификации. Как классифицируют свою науку биологи? Они говорят: есть микробиология. Она отличается тем, что все изучается под микроскопом. Вот все, что ее объединяет. Нам нужно покончить со всем этим. Это трудная, длительная, сложная работа, которая может быть решена только коллективными общими усилиями».[1]

Та критика, которой подверг т. Кольман буржуазную классификацию наук, и те примеры, которые он привел, все они бьют не в бровь, а в глаз по равдоникасовскому определению истории материальной культуры.

В самом деле. Чем *принципиально отличается* история материальной культуры в понимании В. И. Равдоникаса, скажем, от гидробиологии? Если последняя изучает все, что в воде, начиная от кита и лягушки и кончая амебой, то «история материальной культуры», по Равдоникасу, должна исследовать все, что сохранилось в земле, начиная от такого «кита» общественной структуры, как техника, и кончая такой «амебой», как «способы украшения тела» и т. д.

Какой основной порок отметил т. Кольман в буржуазной классификации наук, перенятой некоторыми нашими учеными и научными учреждениями? Основной порок тот, что за основу для классификации берется чисто внешний, случайный, словом, формальный признак (живут в воде, изучают под микроскопом), и на этой основе строится вся классификация.

И классификация В. И. Равдоникаса построена на чисто формальном признаке — вещеведческом. Мы на этом уже подробно остановились.

Наш разбор предмета «истории материальной культуры» в понимании В. И. Равдоникаса показал, что В. И. Равдоникас находится в плену своих противников археологов-вещеведов. Пытаясь дать марксистское понимание предмета «истории материальной культуры», Равдоникас фактически оказался на антимарксистских позициях.

Этот вывод углубляется и подтверждается при рассмотрении взглядов В. И. Равдоникаса на *метод* «истории материальной культуры». В качестве основного метода «марксистской истории материальной культуры» В. И. Равдоникас, в противовес типологическому методу — «универсальному методу современной буржуазной археологии» — выдвигает *комплексный метод*.

Для нас интересна как критика В. И. Равдоникасом типологического метода, так и аргументация его в

[1] Под знаменем марксизма. 1931 г., № 3, стр. 71.

защиту комплексного метода. Начнем с рассмотрения критики В. И. Равдоникасом комплексного метода. Это поможет нам понять положительную его аргументацию за комплексный метод.

В чем видит В. И. Равдоникас неприемлемость типологического метода для истории материальной культуры? «Переходя к оценке этого универсального метода буржуазной археологии [т. е. типологического метода. *И.* С.] с нашей точки зрения», пишет он, «мы констатируем прежде всего четыре мотива буржуазного мировоззрения, выступающие в нем: метафизичность, формализм, фетишизм и националистический идеализм» (стр. 25). Метафизичность этого метода В. И. Равдоникас видит в том, что «материальная культура общества начисто отделяется от социально-хозяйственного целого, с полным разрывом всех относящихся сюда социальных связей. Внутри самого вещного мира членение происходит далее. Изолируются друг от друга типологические серии, изучающиеся как замкнутые мирки «an und für sich», независимо друг от друга и лишь в результате изучения сравниваемые между собою, не объединяемые в синтетическое целое. Трудно ли узнать здесь», спрашивает В. И. Равдоникас, «в этом антидиалектическом отрицании взаимных связей вещей друг с другом знакомую «метафизическую привычку рассматривать явления природы вне их великой общей связи (слова Энгельса)?» (стр. 26).

«Далее», переходит В. И. Равдоникас к критике второго мотива типологического метода, «типологические серии составляются лишь по признаку формы вещей, часто без всякого учета их социальной семантики» (стр. 26). В. И. Равдоникас вскрывает фетишизм типологического метода, заключающийся в том, что «внутри типологических серий вещи неожиданно начинают жить призрачной самопроизвольной жизнью как независимые ни от чего сущности, самовозникающие, саморазвивающиеся, сами собою порождающие все новые и новые ответвления серий» (стр. 26). Наконец, «националистический идеализм» типологического метода В. И. Равдоникас характеризует следующим образом: «В качестве общей подосновы совершающегося в мире вещей развития типологами принимается «народный характер», «народный дух», «душа нации», выявляющиеся в скорости развития, в богатстве и разнообразии форм и т. д.».

«Идеалистичность всей концепции приобретает законченный характер. На археологическом материале доказывается превосходство одних наций над другими, и археология превращается, как совершенно откровенно подчеркнул Коссина, в «выдающуюся национальную науку» (eine hervorragende nationale Wissenschaft), обслуживающую империалистические тенденции буржуазии» (стр. 27).

В чем недостаток этой критики В. И. Равдоникасом типологического метода? Недостаточность этой критики в том, что она, в основном верно отмечая и вскрывая неправильные отдельные элементы этого метода, не показывает основного, того, что все это — все эти «четыре мотива», по Равдоникасу, есть лишь аттрибуции его идеалистической сущности, которая в свою очередь обусловливается тем, что идеализм становится официальной философией буржуазии эпохи империализма.

Великолепным образцом марксистской критики буржуазной философии, образцом, сравнение с которым отчетливо покажет всю недостаточность критики В. И. Равдоникаса, является критика Лениным философии Маха и Авенариуса в «Материализме и эмпириокритицизме». Ленин ведет свою критику по двум линиям. Во-первых, он вскрывает гносеологические основы новейшей буржуазной философии и показывает, что, несмотря на все модные словечки и ухищрения, перед нами все тот же идеализм. Во-вторых, он показывает, почему новейший идеализм выступает в подновленном, приукрашенном виде. Ленин показывает, — на примере естествознания, — что буржуазная наука сознательно игнорирует факты, доказывающие правильность материализма. Она делает это потому, что материализм служит революционным целям мирового пролетариата. Отсюда — рост фидеизма и прямой поповщины в современной буржуазной науке.

У Равдоникаса же идеализм типологического метода попадает лишь на четвертое место в ряду других его сторон. И это не случайно. Идеализм типологического метода В. И. Равдоникас сводит к шовинистическим учениям немецких археологов о превосходстве «немецкого духа», «немецкой науки» и т. д. Поэтому и идеализм типологического метода получает у В. И. Равдоникаса странный эпитет: националистический идеализм.

В. И. Равдоникас не сумел показать, как империалистический шовинизм немецких (и других) археологов нашел свое отображение в гносеологических основах типологического метода.

А показать эту идеалистическую сущность типологического метода очень легко. Она выступает совершенно отчетливо и откровенно. Идеалистическая сущность типологического метода в том, что он изучает законы развития вещей самих в себе («jede für sich» — Монтелиус, цит. по Равдоникасу, стр. 24). Этот отрыв вещей от общества, создающего эти вещи, это абсолютизирование вещи и есть одна из типичных форм проявления идеализма в общественных науках.

Объективные общественные законы, обусловливающие возникновение и развитие тех или иных орудий, предметов труда и средств труда, игнорируются, и «вещный мир общества» отрывается от общества. Тем самым создается какое-то особое царство вещей, которое «развивается» по своим собственным «законам», причем для конструирования этих «законов» не остается ничего иного, как использовать форму вещи, внешнюю форму, форму, оторванную от содержания.

Задачей настоящей статьи не является систематическая и развернутая критика типологического метода, и сделанные выше замечания, конечно, не охватывают всех сторон этого метода. Нам важно было лишь показать, что основа этого метода чисто идеалистическая. Этой цели и служат наши замечания.

Если критика типологического метода, данная В. И. Равдоникасом, явно недостаточна, то и положительная часть рассуждений В. И. Равдоникаса никак не может быть признана правильной. «Взамен типологического метода», пишет В. И. Равдоникас, «вернее и лучше сказать — отводя ему весьма подчиненное место — мы выдвигаем комплексный метод, как основной для истории материальной культуры. Отдельная вещь, отдельный тип, как и замкнутая совокупность типов в серии, не являются для нас основанием исследования. Социологически вещи важны и понятны лишь в совокупности с другими сосуществующими в данном обществе вещами, в соотношении со всеми условиями их нарождения, со всеми данными природы и социальной среды. Культурный комплекс, как вся материальная культура данного конкретного общества в данный момент или отрезок его развития, в ее конкретном своеобразии, во взаимной связанности отдельных элементов культуры друг с другом и со всеми могущими быть учтенными общественными явлениями, вот что должно служить единицей культурно-исторического исследования, дробление которой возможно лишь в технических удобствах исследования и без ущерба общей целостной перспективе. Орудия труда и вся техника производства как существеннейшая часть комплекса, согласно общему требованию отправляться в общественном анализе от производительных сил, должны

изучаться в первую очередь; координированно с ними изучаются и все остальные элементы материальной культуры» (стр. 28 — 29).

Эту общую характеристику комплексного метода В. И. Равдоникас развивает и конкретизирует.

«Практически комплексное изучение обязывает к разысканию и изучению возможно большего числа всех возможных памятников, связанных с изучаемым обществом и находящихся на данной изучаемой территории, границы которой не должны быть узкими. Весь полученный таким образом материал, относящийся к длинному отрезку развития общества (чем длиннее, тем лучше), надлежит расчленить на хронологически сосуществовавшие комплексы материальной культуры. При этом нет необходимости опираться лишь на типологический метод. Лучшие результаты дает, кроме точного выяснения условий находок, например, стратиграфии, — изучение временных чередований устойчивых групп предметов в обширных массовых памятниках, могильниках, поселениях и пр.».

«Внутри установленных таким образом культурных комплексов-разрезов вещный материал изучается под углом зрения его социальной значимости по группам, объединенным социально-функциональным признаком. Восстанавливаются все виды существовавших на фоне географической среды производств, выясняются мельчайшие подробности быта, расшифровываются все наличные указания на идеологические представления, реконстрируются «отношения по производству» и т. д., пока материально-культурный комплекс не будет понят как именно живая часть живого общественного целого. В этой сложной работе нужно пользоваться разнообразными приемами: и сравнительным методом, и палеонтологией речи и быта, и имманентным истолкованием культурных остатков» (стр. 30 — 31).

Итак, существо комплексного метода В. И. Равдоникаса состоит в том, что весь исторический материал, подлежащий исследованию, делится на культурно-исторические комплексы, комплексы «материальной культуры», которые затем изучаются социологически. Совершенно очевидно, что для правильной оценки комплексного метода необходимо выяснить по крайней мере четыре момента:

1) На основе какого принципа «материальная культура» дробится на культурные комплексы?

2) В каком отношении находятся культурно-исторические комплексы и общественно-экономическая формация?

3) Что понимает В. И. Равдоникас под социологическим изучением культурного комплекса?

4) В каком отношении находятся комплексный метод В. И. Равдоникаса и метод диалектического материализма?

Остановимся на всех четырех пунктах. Культурный комплекс в общей форме определяется В. И. Равдоникасом «как вся материальная культура данного конкретного общества в данный конкретный момент или отрезок его развития, в ее конкретном своеобразии, во взаимной связанности отдельных элементов культуры друг с другом и со всеми могущими быть учтенными общественными явлениями» (стр. 28 — 29). Как видно из приведенного места, для уяснения того, что понимает В. И. Равдоникас под культурным комплексом, необходимо установить принципы, по которым «материальная культура» в целом дробится на отдельные комплексы.

Вот как рисуется этот процесс В. И. Равдоникасу.

«Полученный таким образом [т. е. собранный с наибольшей полнотой. *И. С.*] материал», пишет В. И. Равдоникас, «надлежит расчленить на хронологически сосуществовавшие комплексы материальной культуры. *При этом нет необходимости опираться лишь на типологический метод. Лучшие результаты дает, кроме того, выяснение условий находки, например, стратиграфии,* изучение временных чередований устойчивых групп предметов в обширных массовых памятниках, могильниках, поселениях и пр.» (стр. 30. Курсив мой. *И. С.*).

Итак, для выделения культурных комплексов В. И. Равдоникас использует исключительно методы старой буржуазной археологии. Вся «разница» состоит в том, что В. И. Равдоникас не считает целесообразным («нет необходимости») пользоваться лишь типологическим методом, дополняя его другими формальными методами буржуазной археологии (культурно-стратиграфический метод и др.).

Но в связи с этим закономерно встает вопрос: в каком соотношении находится «культурный комплекс» В. И. Равдоникаса и общественно-экономическая формация? Культурный комплекс, по мнению В. И. Равдоникаса, является «*единицей культурно-исторического исследования*, дробление которой возможно лишь в технических удобствах исследования и без утери общей целостной перспективы» (стр. 29. Курсив мой. *И. С.*).

В то же время нет необходимости доказывать, что «единицей исторического исследования» в марксизме-ленинизме является общественно-экономическая формация. Но что является критерием для расчленения истории общества на общественно-экономические формации? Четкий ответ на это дает Ленин: «До сих пор социологи затруднялись отличить в сложной сети общественных явлений (это корень субъективизма в социологии) и не умели найти объективного критерия для такого разграничения. Материализм дал вполне объективный критерий, выделив «производственные отношения» как структуру общества (NB. *И. С.*). и дав возможность применить к этим отношениям тот общенаучный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали субъективисты».[1] И Ленин продолжает: «Анализ материальных производственных отношений сразу дал возможность подметить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие «общественной формации». Только такое обобщение дало возможность перейти от описания (и оценки с точки зрения идеала) общественных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем для примера, то, «что» отличает одну капиталистическую страну от другой, и исследующему то, «что» обще им всем».[2]

Таким образом, категория общественно-экономической формации выработана марксизмом как итог и обобщение изучения материальных производственных отношений. То, что производственные отношения образуют структуру общества, этот факт и дает возможность отделить один тип структуры общества от другого, иными словами, позволяет выделить единицу исторического исследования — общественно-экономическую формацию.

Вопрос о соотношении категорий культурного комплекса и общественно-экономической формации при его конкретизации может принять лишь один вид: противоречит или не противоречит категория культурного комплекса категории общественно-экономической формации?

А это в свою очередь может означать только следующее: или культурный комплекс В. И. Равдоникаса идентичен общественно-экономической формации (или, что принципиально одно и то же, составляет закономерный этап в развитии данной общественно-экономической формации), и тогда он не противоречит категории общественно-экономической формации, или он по своей структуре является принципиально отличным от категории общественно-экономической

[1] Собр. соч., т. I, стр. 61, издание 2-е.

[2] Там же.

формации, и тогда вопрос о противоречии отпадает сам собой.

Ответ на наш вопрос легко узнать из предыдущего изложения взглядов В. И. Равдоникаса. Применяя при выделении культурного комплекса исключительно формальные методы буржуазной археологии (выше мы их перечислили), В. И. Равдоникас может получить в результате лишь *комплекс, объединенный чисто формальным признаком.*

Что формальный признак для В. И. Равдоникаса является решающим (мы видели, что это имманентно вытекает из самого существа методов, применяемых В. И. Равдоникасом), об этом он говорит сам совершенно точно: «Практически комплексное изучение обязывает к разысканию и изучению возможно большего числа всех возможных памятников, связанных с изучаемым обществом и находящихся на данной изучаемой территории, границы которой не должны быть узкими. Весь полученный таким образом материал, относящийся к длинному отрезку развития общества (чем длиннее, тем лучше), надлежит расчленить на хронологически сосуществовавшие комплексы материальной культуры» (стр. 30).

Итак, механизм выделения культурного комплекса прост до чрезвычайности. Для изучения берется «данная территория», единственным условием для которой является, что границы ее «не должны быть узкими». На этой территории разыскивается «возможно большее число» памятников «материальной культуры», причем эти памятники берутся за длинный отрезок времени: «чем больше, тем лучше» (слова В. И. Равдоникаса). Задача сводится к тому, чтобы «весь полученный материал расчленить на хронологически сосуществовавшие комплексы». Для этого у В. И. Равдоникаса есть одно орудие: сумма формальных методов буржуазной археологии. Но какой комплекс можно получить, например, при применении типологического метода? Ответ ясен: типологическую серию. Применение других методов, например, упоминаемого В. И. Равдоникасом культурно-стратиграфического метода, в лучшем случае может дать стратиграфически однородный материал. Но разве не может стратиграфический «комплекс» содержать в себе явления, относящиеся к различным общественным формациям? Нам нет необходимости обосновывать утвердительный ответ. Или, может быть, В. И. Равдоникас стоит на той точке зрения, что применение *нескольких* идеалистических методов взаимно *погашает* ошибки, полученные при использовании *каждого их них?*

Вывод ясен: культурный комплекс В. И. Равдоникаса представляет случайное сочетание на основе чисто формальных признаков (стратиграфия, типология) вещей, найденных на данной территории и относящихся к определенному хронологическому отрезку. И этот «механический аггрегат» (пользуюсь выражением Ленина) В. И. Равдоникас выдает за «единицу культурно-исторического исследования».

Этим дается ответ и на вопрос о соотношении между культурным комплексом и общественно-экономической формацией.

Культурный комплекс является конкретным выражением воззрения на общество как на некий механический аггрегат, воззрения, конец которому был положен марксизмом *именно созданием категории общественно-экономической формации.*

Но последуем далее за В. И. Равдоникасом. Посмотрим, как он *изучает* свою «культурно-историческую единицу».

«Внутри установленных таким образом культурных комплексов-разрезов вещный материал изучается под углом зрения его социальной значимости по группам, объединенным социально-функциональным признаком. Восстанавливаются все виды существовавших на фоне географической среды производств, выясняются мельчайшие подробности быта, расшифровываются все наличные указания на идеологические представления, реконструируются отношения по производству и т. д., пока материально-культурный комплекс не будет понят как именно живая часть живого общественного целого. *В этой сложной работе нужно пользоваться различными приемами: и сравнительным методом, и палеонтологией речи и быта, и имманентным истолкованием культурных остатков.*

«Когда мы получили ряд таких социально-понятых синхронических комплексов-разрезов, относящихся к одному обществу, тогда сопоставление их друг с другом вскрывает нам общую картину развития... В этом развитии будут узловые пункты-этапы, будут и периоды разительных переворотов, переходов от одного качества к другому, когда вся культура вдруг меняет свой облик. *Такие периоды оставались ранее не понятыми;* их чаще всего объясняли при помощи теории вытеснения одной народности другой, теории, связанной с теорией миграций. Учение о стадиальности, развиваемое яфетидологией, поможет правильнее осветить явления данного рода; по существу же в них надо искать, конечно, смену социально-экономических формаций» (стр. 31. Курсив мой. *И. С.).*

Таков дальнейший путь и итог применения комплексного метода.

Итак, задача решена. Комплексный метод «сделал свое дело». Раскрыт закон развития общества. Прослежена смена социально-экономических формаций. Но нас интересует *метод* В. И. Равдоникаса, путь, которым он пришел к своей цели. Присмотримся внимательно к ходу мыслей В. И. Равдоникаса.

Если при рассмотрении процесса «создания» культурного комплекса мы обвиняли В. И. Равдоникаса в том, что он пользуется формальным, идеалистическим методом буржуазной археологии, то теперь он занят социологическим изучением материально-культурных комплексов. Как мы видели, сущность социологического изучения культурного комплекса сводится к пониманию социальной природы данного комплекса. Это достигается реконструкцией типа производства, производственных отношений, явлений надстройки и т. д. В. И. Равдоникас, действительно, занимается социологией.

Тем важнее знать нам метод, которым руководствуется В. И. Равдоникас в этой своей работе. Ответ мы получаем сразу же и непосредственно от автора. «В этой сложной работе», разъясняет нам В. И. Равдоникас, «нужно пользоваться разнообразными приемами: и сравнительным методом, и палеонтологией речи и быта, и имманентным истолкованием культурных остатков» (стр. 31). Как видим, методы действительно разнообразны. Но зато и интересны. Перед нами новый этап в развертывании сущности комплексного метода. Как мы помним, на предыдущем этапе комплексный метод оказался не чем иным, как *комбинацией* формальных, идеалистических методов буржуазной археологии. Нечто сходное мы видим и на новом его этапе.

Остановимся по порядку на всех «методах», перечисленных В. И. Равдоникасом в только-что приведенной цитате.

Сравнительный метод. Он говорит сам за себя. Если типологический метод — основной метод буржуазной *археологии,* то сравнительно-исторический метод является излюбленным методом буржуазной *социологии* вообще. Не будучи в состоянии вскрыть действительные законы развития общества, буржуазная наука ограничивается тем, что *сравнивает* явления, относящиеся к одному обществу, с явлениями другого общества, ни на иоту не приближаясь к пониманию сущности изучаемых явлений. Надо ли говорить, что так наз. сравнительно-исторические «законы», конструируемые буржуазным обществоведением, в действительности сводятся к «установлению» заимство-

ваний и влияний одного общества на другое. Действительной картины развития общества при помощи сравнительного метода не получить.

Второй по порядку «метод», указываемый В. И. Равдоникасом, не может не вызвать критики. Объявляя «палеонтологию речи и быта» особым *методом*, В. И. Равдоникас оказывается на позициях *правой части яфетидологов*, которые пытались и пытаются противопоставить яфетическую теорию («марризм») марксизму, конструируя особый «яфетидологический» метод, называя его дополнением к марксизму и т. д. Такие яфетидологи получают заслуженный отпор и от Н. Я. Марра и от его последователей.[1]

Остается третий метод: «имманентное истолкование культурных остатков». Но здесь перед нами старый знакомый — формальный метод. Именно он подменивает изучение общества «имманентным истолкованием культурных остатков», т. е. изучением вещи «как таковой».

Таким образом, и «социология» В. И. Равдоникаса имеет в своей основе использование методов буржуазной науки.

Не говоря уже о том, что сама природа культурного комплекса (как механического аггрегата вещей) не позволяет вскрыть общественные закономерности его, совершенно очевидно, что, пользуясь методами буржуазной социологии, В. И. Равдоникасу не удается разрешить те проблемы, которые он декларировал. Ни законы производственных отношений, ни законы, управляющие развитием надстройки, с помощью сравнительного метода не изучишь.

Но В. И. Равдоникас возлагает на сравнительный метод еще более грандиозную задачу, чем установление закономерностей в пределах одного культурного комплекса.

«Когда мы получим ряд таких социально понятых (мы видели, как они «поняты». *И. С.*) синхронических комплексов-разрезов, относящихся к одному обществу, тогда *сопоставление их друг с другом* вскрывает общую картину развития» (стр. 31. Курсив мой. *И. С.*).

Сравнительный метод становится, таким образом, универсальным методом в руках В. И. Равдоникаса. Но даже в руках В. И. Равдоникаса он оказывается не в состоянии выяснить природу «переходов от одного качества к другому, когда культура вдруг меняет свой облик».

Для этого у В. И. Равдоникаса в запасе есть еще один «метод».

«Такие переходы оставались ранее не понятыми», авторитетно заявляет В. И. Равдоникас и тут же указывает метод, с помощью которого можно правильно понять существо переходов. «Учение о стадиальности, развиваемое яфетидологией, поможет правильнее осветить явления данного рода; по существу же в них нужно искать, конечно, смену социально-экономических формаций» (стр. 31).

Возражать что-либо по поводу последнего пункта рассуждений В. И. Равдоникаса мы не в состоянии. Мы только можем констатировать, что находились в глубочайшем заблуждении. До сих пор мы думали, что *стадиальность в языке можно понять на основе законов развития общественно-экономических формаций*. В действительности получается же как раз наоборот. Оказывается, что единственным средством для понимания законов смены общественно-экономических формаций является: . . учение о стадиальности в языке.

Но мы так и не смогли разрешить одно сомнение. Понимали или не понимали творцы учения об общественно-экономических формациях, Маркс и Ленин, сущность смены общественно-экономических формаций? Ведь, насколько нам известно, «учение о стадиальности, развиваемое яфетидологией», возникло в эпоху гораздо более близкую к нам, чем, скажем, время появления «Капитала» или «Друзей народа»? Может быть, в разрешении этого сомнения нам поможет В. И. Равдоникас.

Мы рассмотрели учение В. И. Равдоникаса о комплексном методе. Мы видели те результаты, к которым ведет его применение. Мы выяснили сущность комплексного метода.

Но мы сознательно не рассмотрели одну сторону «учения о методе» В. И. Равдоникаса, хотя и наметили ее в числе других вопросов, подлежащих нашему рассмотрению. Это — вопрос о соотношении комплексного и диалектико-материалистического методов. Впрочем, мы фактически уже ответили на этот вопрос. Наше тщательное изучение всех и всяческих методов, применяемых В. И. Равдоникасом на всех ступенях его анализа (комбинацию их В. И. Равдоникасу угодно называть «комплексным методом»), показало нам, что если перед нами целая галерея методов и примеров из арсенала буржуазной археологии, этнологии, истории культуры и т. д., то все наши попытки найти диалектико-материалистический метод, хотя бы даже в форме деклараций, не увенчались успехом.

Просто поразительно, что для В. И. Равдоникаса, думающего, что он пишет работу о предмете и методе *марксистской* «истории материальной культуры», осталась неизвестной та элементарная истина, что сама постановка вопроса о создании *нового метода* для любой марксистской науки является антимарксистской. *Для всякого марксиста вопрос о методе решен раз и навсегда. Метод диалектического материализма является универсальным методом для всех наук. И не выдумыванием «новых методов» надо заниматься, а разрабатывать вопрос о конкретизации метода диалектического материализма для данной науки.*

Но, может быть, у В. И. Равдоникаса хватит смелости сказать, что его комплексный метод есть конкретизация метода диалектического материализма.

Для опровержения этого достаточно напомнить хотя бы соотношение между комплексным методом и типологическим методом о котором говорит В. И. Равдоникас. «Взамен типологического метода, *вернее и лучше сказать — отводя ему весьма подчиненное место*, — мы выдвигаем комплексный метод, как основной для истории материальной культуры» (стр. 28. Курсив мой. *И. С.*).

«Вернее и лучше сказать»... Этим своим «уточнением» В. И. Равдоникас открыл свои карты. Не поняв сущности типологического метода, В. И. Равдоникас счел возможным дополнить свой якобы марксистский комплексный метод идеалистическим методом буржуазной науки. Впрочем, мы видели, что это заявление В. И. Равдоникаса не соответствует действительности. В действительности комплексный метод В. И. Равдоникаса есть все тот же старый формально-типологический метод, лишь дополненный другими буржуазными идеалистическими методами.[1]

---

[1] См., например, В. Б. Аптекарь и С. Н. Быковский. Современное положение на лингвистическом фронте, стр. 26.

[1] Не даром в числе своих «предшественников» по выработке комплексного метода В. И. Равдоникас мог привести лишь махровых буржуазных ученых (Коссина и др.) с одной стороны и эклектиков вроде В. К. Никольского с другой. Кстати характеристика немецкой школы Siedlunsarchäologie, даваемая В. И. Равдоникасом, может служить примером типично эклектической оценки. С одной стороны, В. И. Равдоникас считает, что Siedlungsarchäologie «значительно яснее, чем другие буржуазные археологи, прощу-

Мы можем подвести некоторые итоги.

И самая эклектическая концепция имеет свою логику. Мы постарались показать эту внутреннюю логику рассуждений В. И. Равдоникаса на всем протяжении нашей критики его работы. Эта внутренняя логика концепции В. И. Равдоникаса, логика, лежащая в основе его рассуждений и приведшая к столь плачевным результатам, сводится к следующему.

Имея своей задачей преодоление буржуазной археологической науки и создание взамен ее новой науки, построенной на принципах марксизма, В. И. Равдоникас в основу этой науки положил основное понятие буржуазной науки об обществе, понятие культуры.

Именно это привело его в неразрешимые конфликты и противоречия с основным понятием марксистской социологии — категорией общественно-экономической формации. Именно это заставило его сконструировать «свой» комплексный метод, а фактически — лишь несколько подчистить и замаскировать буржуазный метод, метод формально-идеалистический, ибо система и метод находятся в имманентной связи друг с другом. Именно это привело его к выводам, в корне противоречащим основным положениям марксизма. Именно это, наконец, сделало *недостаточной* его критику буржуазного археологического «наследства» (критика Siedlungsarchäologie тому пример).

Мы можем сделать два вывода:

1. В. И. Равдоникас не преодолел до конца влияние буржуазной археологии. В своей работе *В. И. Равдоникас отразил взгляды и настроения той части старых археологов, которые, искренно желая перестроить свою научную работу на принципах марксизма, в то же время еще не преодолели своего буржуазного археологического прошлого с одной стороны, не овладели методом марксизма-ленинизма с другой.*

Теоретическим выражением этого промежуточного положения данной группы научных работников, положения, характерного не только для археологов, но и для известной части старой интеллигенции вообще, — теоретическим выражением этого является та «внутренняя логика» концепции В. И. Равдоникаса, которую мы проследили и которая заключается в неразрывных попытках эклектического соединения основ старой буржуазной науки с принципиально противоположным мировоззрением — с марксизмом.

2. Второй наш вывод должен быть ответом на вопрос, поставленный в заголовке статьи: *необходимо отказаться от попытки сконструировать «марксистскую историю материальной культуры».* Результаты, к которым привела эта попытка В. И. Равдоникаса, не являются случайными в том смысле, что здесь виной личные качества и свойства В. И. Равдоникаса как ученого. Напротив, к подобным «итогам» придет всякий, кто захочет повторить попытку В. И. Равдоникаса. В. И. Равдоникас пал жертвой своего желания соединить несоединимое: буржуазную археологию и марксизм. И тот факт, что в основу «марксистской истории материальной культуры» кладется основное понятие буржуазной социологии, понятие культуры, — этот факт с имманентной неизбежностью будет мстить за себя тем, что всякие попытки соединить и обогатить эту категорию категориями марксистской социологии приведут лишь к эклектизму, — а известно, что наиболее бесплодные результаты дает именно эклектизм.

Но, отказываясь от создания «марксистской истории материальной культуры», чем должны мы заполнить «провал», образующийся в системе общественных наук?

Великолепная возможность этого имеется. *Не созданием «марксистской истории материальной культуры» должны заниматься историки-марксисты, а созданием марксистской истории техники — вот актуальная задача.* На необходимость создания этой науки указал еще Маркс в своем знаменитом примечании к «Капиталу».

Огромную важность *«диалектической обработки истории... техники»* подчеркивал Ленин в своем конспекте «Науки логики» Гегеля.[1] Эта задача является тем более актуальной сейчас, когда основным лозунгом является лозунг «овладеть техникой».

Создание марксистской истории техники должно явиться одним из средств для реализации этого центрального лозунга партии.

■

[1] IX Ленинский сборник, стр. 139.

■

пала понятие культурного комплекса». «Но в остальном», замечает В. И. Равдоникас, «данная школа сугубо реакционна» (стр. 29). Каким образом «сугубо реакционная школа» могла работать революционным (с точки зрения В. И. Равдоникаса) комплексным методом? Это может утверждать лишь тот, кто эклектически понимает соотношение между методом и результатом метода («с одной стороны — с другой стороны»). Надо ли говорить, что методология Коссины целиком приспособлена к его реакционным выводам.

А. В. Арциховский, С. В. Киселев и А. П. Смирнов

Возникновение, развитие и исчезновение „марксистской археологии“

Вступление СССР в период социализма ознаменовалось необычайным ускорением темпов развития марксистско-ленинской теории. Публикации отстают и быстро устаревают. До сих пор имеют хождение работы, не только устаревшие, но и прямо враждебные современным установкам их авторов. Семь лет в условиях социалистического строительства — это целая эпоха.

Семь лет тому назад, тогдашние аспиранты и тогдашние студенты, авторы этих строк делали первые попытки построения так называемой марксистской археологии. Теперь, когда внутренняя противоречивость самого понятия вскрылась, мы считаем необходимым дать критику своих прежних взглядов, своих ошибок. Это тем более необходимо, что наши ошибки отразились в той или иной мере на исследованиях и ряда других авторов.

Начнем с небольшого исторического замечания — не для оправдания наших ошибок, но для характеристики той среды, влияния которой преодолеть мы не сумели. Семь лет тому назад даже так называемую марксистскую археологию встретили в штыки. Самая возможность, как тогда было принято выражаться, социологических выводов на археологическом материале отрицалась. В Ленинграде Государственная академия истории материальной культуры, типичной темой работ которой было, например, «происхождение герба Сицилии», являлась могущественной крепостью старых традиций; несмотря на все усилия председателя академии преодолеть и покончить с рутиной,

среда была не восприимчива. В московских научно-производственных планах для так называемых социологических работ места не находилось, безраздельно господствовал формально-сравнительный метод. Обстрел со всех руководящих кафедр (В. А. Городцов, Б. С. Жуков, А. А. Спицын) неизменно сопровождал все наши выступления.

Но все эти выступления объективно были лишь попытками наложить марксистские заплаты на ветхие одежды буржуазной археологии. Свежее увлечение великой теорией исторического материализма смешивалось еще с только что воспринятыми со школьной скамьи традициями формалистической археологии. Синтез был найден без всякого труда. Все мы слушали в университете блестящие по форме лекции Н. И. Бухарина и сквозь призму его взглядов невольно воспринимали многое и при чтении трудов самих основоположников марксизма-ленинизма. Известная механистическая концепция: «первичным элементом являются средства производства» — позволяла инкорпорировать в марксистское обществоведение если не всю старую археологию, то по крайней мере стройные по внешности узоры буржуазных формалистических построений, глубоко реакционные по существу, не понятому сразу под упомянутой внешностью. И вот мы выступили в археологии своего рода «формалистами-социологами», чем-то вроде литературоведов-форсоцов. Механицизм, эта философия мелкой буржуазии, выступил и здесь под видом марксизма. Наша «марксистская» археология имела мелкобуржуазные классовые корни.

Критика наших работ, даже самых старых (статья А. В. Арциховского о земледельческих орудиях, написанная и сданная в печать в 1925 г.), дело нужное и современное, даже тогда, когда она не сопровождается критикой собственных статей того же времени (например, у В. И. Равдоникаса, который в 1925 г., судя по его тихвинским археологическим работам, стоял на реакционных позициях чистого формализма, миграционной теории, великодержавного шовинизма, географизма и т. д.).

Наш первородный грех механицизма имел многообразные последствия. Наша излюбленная в то время бухаринствующая формула: «орудия труда являются основными и определяющими производительными силами» — привела к непосредственному перескакиванию от орудий к производственным отношениям, минуя работающих людей.

Поэтому мы и могли изучать производительные силы и производственные отношения в последовательности, а не в единстве. Самый способ изложения, таким образом, напоминал другого нашего учителя — Н. А. Рожкова. Бухаринское понимание диалектики привело нас к злоупотреблению марксистской формулировкой «в возникновении, развитии и исчезновении». Эту фразу мы вклеивали всюду, не вскрывая, что «условие познания всех процессов мира в их самодвижении... есть познание их как единства противоположностей» (Ленин).

Механистическая логика дальше привела к отсутствию в наших построениях диалектических скачков. В. И. Равдоникас в своей дельной и своевременной критике наших ошибок ни слова не сказал об этом. Такое умолчание не случайно. Все его работы страдают тем же недостатком. Введение предформации смазывает скачок от обезьяны к человеку («Известия ГАИМК», т. IX, в. 2); своеобразная трактовка азиатской общины смазывает революционный переход от доклассового общества к классовому (там же); тот же эволюционизм видим в целом ряде частных случаев, например, при «растягивании (как выразился сам автор) периода возникновения феодализма (в Новгороде) до XII века» («Сообщения», № 7, стр. 33).

Углубляя критику наших взглядов, недостаточную у В. И. Равдоникаса, мы должны также отметить наличие в наших старых работах отголосков богдановской концепции, в виде теории организаторства (С. В. Киселев — «Поселение»; А. П. Смирнов — «Социально-экономический строй восточных финнов» и некоторые ненапечатанные работы). И это умолчание В. И. Равдоникаса объясняется его собственными ошибками.

В пылу критики, пропуская многие наши основные ошибки, В. И. Равдоникас припаял нам одну погрешность, в которой мы неповинны. Откуда он взял «пристрастие всей группы московских археологов-механистов к миграциям» («Сообщения», № 9/10, стр. 11)? Пристрастие проявил один А. Я. Брюсов. Мы, пишущие эти строки, не совсем последовательно для наших тогдашних механистических взглядов всегда выступали против миграционных схем, а в собственных работах не применяли их ни разу, стараясь вскрывать автохтонные процессы.

Выступая в Комакадемии с декларацией в 1929 г. («Историк-марксист», № 14), мы повторили наши механистические ошибки, отбросив только некоторые второстепенные. Кроме того, в пылу своевременных споров с реакционной палеоэтнологической школой, выросшей на основе этнологии, этого фашистского суррогата марксистского обществоведения, мы допустили еще одну ошибку, целиком опять-таки обусловленную нашими механистическими взглядами. Мы считали возможным реконструировать общественные формации по одним археологическим источникам и явно недооценивали значение источников лингвистических, а также этнографических.

Связь этой ошибки с механистической переоценкой ископаемых орудий труда очевидна. К этому присоединилась нелепая формулировка: «археология и история — две параллельные науки»; правда, это сопровождалось оговоркой, что речь идет об «истории в узком смысле слова». Мы имели в виду только параллельное изучение письменных и вещественных источников, как там и сказано. Но даже и такое обязательное требование методологически неправильно, а самая возможность появления этой формулировки связана с той же механистической переоценкой ископаемых орудий труда. Правда, в нашей практике путаница с историей не отразилась вовсе. Письменные исторические источники мы привлекали постоянно и даже получали упреки от большинства московских и ленинградских археологов в неумеренном ими пользовании. В упреках этих отразилась старая археологическая рутина.

Значение и роль старых буржуазных археологических школ мы явно недооценивали. Совершенно очевидно, что нашей обязанностью была не только декларативная характеристика этих школ, не только выступления по докладам, но и печатная критика теорий В. А. Городцова и А. А. Спицына, пользующихся большим влиянием, особенно на местах.

Наследие В. А. Городцова нами преодолено не было. Не думаем, что кто-нибудь заподозрит нас в применении когда бы то ни было законов индустриальных заимствований, случайных совпадений и т. п. Но мы долго оперировали категорией «культура» в буржуазном и специально-городцовском понимании этого термина и даже, раскритиковав это понимание культуры в декларации, не могли изжить в своих позднейших напечатанных работах. Не преодолели мы и идеалистических классификационных схем В. А. Городцова; наоборот, мы их составляли, считали достаточным ограничить их роль, сводя их к приему описания. Такое признание совместимости марксистской методологии с буржуазной методикой было характерно для нетвердости наших тогдашних методологических установок.

Чрезвычайно резок по форме был наш разрыв с В. А. Городцовым и всем старым археологическим

направлением на музейном фронте. Но как раз здесь наши механистические ошибки выступили особенно выпукло. Ошибки эти усугублялись отсутствием времени на подготовку и обсуждение. Темпы перестройки Исторического музея были раза в четыре быстрее, например, темпов современной перестройки соответствующих отделов Эрмитажа.

Наш основной механистический грех — забвение о человеке в системе производительных сил — и связанный с этим отрыв производительных сил от производственных отношений, — все это получило, так сказать, монументальное воплощение в музейных залах. Наши старые богдановские промахи, как это было отмечено Е. Ю. Кричевским, послужили основой для еще одного извращения марксизма, которое развилось у нас на этот раз в музейной практике. При показе разложения первобытно-коммунистической формации и образования классов мы неправильно обрисовали значение насилия.

Стремясь во что бы то ни стало избежать богдановских «организаторов» производства, мы заменили их, неверно поняв известные места в «Марке» и «Происхождении семьи» Энгельса, воинами и вождями дружин, жадными к добыче. По железным законам материалистической диалектики эти вожди превратились тоже в «организаторов» — организаторов войн. Это оказалось той же богдановщиной, так как мы не потрудились вскрыть хозяйственные противоречия процесса классообразования, благодаря которым войны «ведутся ради грабежа и война становится средством приобретения» (Энгельс).

Некоторые оговорки, которыми мы пытались отгородиться от буржуазной теории насилия, были в экспозиции. Е. Ю. Кричевский их не заметил, но не в этом дело. К тому же общее впечатление, подчеркивающее насилие, усиливалось еще и тем, что, не имея достаточно вещей, которые непосредственно отражали бы социальные отношения, мы постоянно выставляли мечи как своего рода символ новых отношений господства — подчинения.

Соглашаясь, таким образом, с критикой Е. Ю. Кричевского, мы считам необходимым отметить у него скользкую формулировку, которая может завести довольно далеко. Именно, по нашему оппоненту, «для вождя, выдвигавшегося в период разложения родоплеменного строя, руководящее положение на войне... было также лишь аттрибутом экономического богатства». Такая односторонняя, тоже механистическая формулировка, с точки зрения стилистической пародирующая Маркса, игнорирует диалектику причины и следствия и прямо противоречит множеству чрезвычайно известных мест из работ Энгельса, напр., о расхищении общинных земель, «о прославившихся военачальниках», «о происхождении наследственной княжеской власти» и т. д. Без экономического богатства значения вождей, конечно, не объяснить, но игнорировать внеэкономическое принуждение, закреплявшее и увеличивавшее это богатство, нельзя. Всю свою фразу даже со словечком «лишь» сам автор немедленно объявил «основным положением марксистского учения». Между тем она не только делает излишним диалектический скачок между формациями, она ведет к отрицанию роли насилия при смене классовых формаций, к отрицанию революций. Охотно верим, что эта фраза сорвалась у Е. Ю. Кричевского в пылу полемического задора.

К серьезной и принципиальной критике Е. Ю. Кричевского привешены quelques remarques М. Г. Худякова. Там с удивлением мы встретили концепцию импортного феодализма, типичную для буржуазной социологии с ее теорией заимствований. Нам неожиданно ставятся в вину именно попытки вскрыть автохтонный процесс классообразования на Каме. Без феодального оплодотворения болгарами финнов, оказывается, камскому феодализму не суждено было бы увидеть свет!

Отметим, что концепция финского феодализма развивается не только на археологическом материале А. П. Смирновым, но и на лингвистическом материале Н. Я. Марром («Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык», стр. 102) и на этнографическом М. Г. Маркеловым. М. Г. Худяков объявил эту концепцию националистической, в действительности же, наоборот, его теория импортного феодализма имеет националистические корни. Н. М. Маторин в «Советской этнографии» (1931 г., № 1, стр. 29 — 30) вскрыл идеологию тюркского национализма в старых статьях М. Г. Худякова, в частности именно по вопросу о болгарах. Некоторым рецидивом тех же взглядов являются, несомненно, основные положения в заметке М. Г. Худякова, датированной 1931 годом.

Но вернемся к теме нашей статьи, к судьбам так называемой марксистской археологии.

Выше было уже показано, что наша «марксистская археология» как отдельная наука сконструировалась на механистической переоценке значения ископаемых орудий. При диалектико-материалистическом понимании исторических источников археология теряет право на существование как самостоятельная и даже как вспомогательная наука. Она подлежит упразднению, как подлежит упразднению и этнография. Специальности начинают группироваться не по характеру источников (письменные, археологические, этнографические), но тематически (по формациям, их стадиям, территориям, социальным институтам и т. п.). Понятия «археология» и «этнография», как стало теперь очевидно, столь же чужды, столь же излишни, сколь враждебными и излишними являются понятия «палеоэтнология» и «этнология».

Остаются, однако, археологи, т. е. историки, умеющие производить археологические раскопки и научно пользоваться вещественным памятником. Уменье это аналогично уменью других историков обрабатывать архивные материалы, собирать материалы, которые до сих пор называют этнографическими, или самостоятельно исследовать лингвистические данные. Все это влечет за собой и некоторые специфические приемы обработки добытого материала. Но, возвращаясь со своих специфических полевых исследований, историк должен использовать все виды источников, относящихся к исследуемой теме.

В той мере, в какой многими археологами термин «история материальной культуры» понимается в значении старой археологии, т. е. истории вещей, все сказанное об археологии в одинаковой мере относится и к такой истории материальной культуры. Если под историей материальной культуры разумеется история материального производства, быть может, излишним является и название истории материальной культуры, как способное вести к разным недоразумениям.

Судьбы нашей марксистской археологии аналогичны судьбам многих механистических попыток провести марксизм в различные специальные дисциплины — попыток, которые были довольно обычны в двадцатых годах.

Последний раз злоупотребляя механистически понимавшейся нами формулой «возникновение, развитие и исчезновение», мы посвятили этот очерк «возникновению, развитию и исчезновению» нашего внутренне-противоречивого детища — так называемой «марксистской археологии».

В. И. Равдоникас

На новый этап

Отсталость всего фронта истории докапиталистических формаций, в особенности истории доклассового общества, — факт совершенно очевидный. Но столь же очевидный факт — быстрый рост, значительные и серьезные успехи марксизма на этом отсталом фронте за последние год-два. Мы, без сомнения, подымаемся на новый этап. Чтобы сделать это более решительно и быстро, следует оглянуться на пройденный путь, подвести некоторые итоги, учесть накопившийся опыт. В особенности важно вскрыть, осознать и разоблачить укоренившиеся ошибки — тяжелое наследие прошлого, — которые нередко роковым образом задерживали марксистско-ленинское развитие наших наук. В области идеологии, как это неоднократно повторял Н. Я. Марр, очень часто разрушать труднее, чем создавать. Труднее же всего разрушать то, что укоренилось в собственном сознании. И тем более необходимо это сделать. Необходимо освободиться от всех пережитков буржуазного и мелкобуржуазного мышления до конца, иначе не разорвать порочный круг бесплодной эклектики и подлинным марксистско-ленинским методом не овладеть.

С критикой чужих, ошибочных и враждебных марксизму-ленинизму установок мне приходилось в последнее время выступать неоднократно. Теперь я должен подвести итоги своим собственным ошибкам, в той, конечно, мере, в какой я успел их осознать. Восприняв научную традицию от старых буржуазных археологов, я долгое время в общем некритически эту традицию продолжал и в своей собственной научной работе. В основном на теоретических позициях буржуазной науки я стоял, примерно, до начала 1929 г., что отразилось в соответствующих моих печатных статьях этого периода по археологии и этнографии (работы, изданные в Тихвине, статьи по готскому вопросу и др.). Любопытно, что в своих статьях на другие, не археолого-этнографические темы, например, на исторические, тем более на общественно-политические, я уже с 1919 г. проводил марксистско-ленинскую линию, с ошибками, может быть, но как умел — проводил. А вот в археологии долгое время не делал серьезных попыток преодолеть те буржуазные установки, которые я получил от старой науки. Объективно, я плыл по течению и подчинялся господствовавшим тогда взглядам на археологию и ее задачи. Напомню, что еще в 1928 г. в руководящем археологическом учреждении в Москве объявлялось, что археология была и есть по задачам и методам марксистская наука. Напомню, что некоторыми авторитетными марксистами, от которых нам приходилось учиться марксизму, буржуазная концепция Городцова понималась как «нечто близкое историческому материализму». Академия истории материальной культуры, которая в настоящее время играет — и по праву — ведущую роль в наших науках, в своей основной массовой работе абсолютно ничего общего тогда с марксизмом не имела. Вот, например, какую мрачно-пессимистическую характеристику давал А. Я. Брюсов академии еще в 1930 году: «Традиции бывшей императорской археологической комиссии, заседавшей в Мраморном дворце, и оставленные ею в наследство научные силы не могли и не могут послужить основой для создания марксистской археологии. Как бы ни было у нас трудно положение с опубликованием археологических работ, все же за 11 лет напечатано немало; но напрасно стали бы мы искать в этих работах хотя бы слабой попытки со стороны старых археологов и очень многих их молодых учеников подвести под археологию твердую базу диалектического материализма. Эта численно наиболее значительная группа русских археологов ограничивает свои работы отчетами, описаниями и типологическими статьями, но не решается даже вступить на путь хотя бы формальных обобщений относительно древних общественно-экономических формаций» [1].

Излишнее, ни на чем не основанное высокомерие и чванство заставили А. Я. Брюсова в своей оценке сбросить со счетов все работы Н. Я. Марра и его учеников, например, И. И. Мещанинова, работы, безусловно пролагавшие новые пути в науке. Но за вычетом этих работ и за вычетом пессимистических прогнозов, отнюдь в дальнейшем не оправдавшихся, характеристика, данная А. Я. Брюсовым Академии истории материальной культуры до 1929 г. включительно, — правильна. Старая археология в ней господствовала без попыток с чьей бы то ни было стороны, кроме, повторяю, школы Н. Я. Марра, усомниться в законности ее существования в Советском Союзе.

Решительно осудив Академию истории материальной культуры, А. Я. Брюсов считал, однако, что очаг марксизма все же горит и в данной области знания в СССР. С неподражаемой гордостью он патетически восклицал: «Единственным в Союзе и единственным в мире научным учреждением, поставившим себе целью теоретическую разработку марксистской археологии, является Секция теории и методологии Научно-исследовательского института археологии и искусствознания в Москве». [2]

Мы теперь очень хорошо знаем, что представляло собой это «единственное в Союзе и единственное в мире учреждение». Сошлюсь хотя бы на свою статью в № 9/10 «Сообщений ГАИМК» за 1931 г., где подведены некоторые (далеко не полные) итоги «марксистской» деятельности руководящего состава археологической части этого учреждения в прошлом. Под флагом марксизма там до последнего времени фигурировала все та же формально-типологическая методология в ее городцовском варианте, за марксистскими фразами скрывались буржуазные дела вплоть до защиты хотя бы тем же А. Я. Брюсовым панфинистской буржуазно-империалистической теории финской прародины в Волго-Окском крае, вплоть до утверждений, что «археология была и есть марксистской наукой», что археология и история — две параллельных науки и т. п. В том же «единственном в СССР» учреждении проповедывалась социал-фашистская «теория производительных сил», проповедывалась *после того*, как эту теорию заклеймил т. Сталин, протаскивался идеализм под видом ультраматериализма, пропагандировались эволюционизм, теория миграций и заимствований вместо ленинской диалектики, делались открытые заявления о солидарности с представителями реакционнейшей школы Коссины, и т. д., и т. п.

Нет, грехи Академии истории материальной культуры отнюдь не искупались и не компенсировались прежней деятельностью Института археологии Раниона в Москве. Претензии на марксизм, высказываемые с апломбом ведущей частью сотрудников последнего, только прикрывали старую археологию, только отсрочивали ее гибель.

Так обстояло дело в руководящих учреждениях. На местах и по всему Союзу было не лучше. Равнение

■

[1] А. Я. Брюсов, К вопросу об археологии и археологических исследованиях по доистории северо-запада СССР. Советская Карелия, 1930, № 1 (2), стр. 126.
[2] Ук. соч., стр. 126.

естественно, бралось на центр, и тем больше вреда наделала псевдомарксистская деятельность Института археологии Ранион'а. Даже лучшие и наиболее передовые в общественном отношении из местных работников, как, например, П. С. Рыков, в своих научных исследованиях руководствовались той же городцовской методологией и методикой.

Что следовало сделать в такой весьма тяжелой обстановке тем, кто понял наконец, что так дальше продолжаться не может? Нужно было прежде всего нанести сокрушительный удар по старой археологии в ее главных оттенках и течениях, нужно было вскрыть ее классовые корни, рассеять господствовавшие иллюзии, начать чистку этих Авгиевых конюшен псевдомарксизма. Мне вместе с другими товарищами пришлось за эту задачу взяться, пришлось начать борьбу за ликвидацию старой вещеведческой археологии с ее псевдомарксистскими побегами и за создание на ее развалинах новой марксистско-ленинской науки. Сделал, что мог, и, думаю, очень многое сделал не без заметной пользы.

Моя беда и, конечно, моя вина заключалась в том, что взялся я за столь ответственное дело не так, как следовало бы настоящему марксисту-ленинцу. К сожалению, надо мною тяготела еще власть старого буржуазно-археологического наследства, которую я не сумел преодолеть, т. е. не сумел преодолеть буржуазные методологические установки полностью, выкорчевать их в себе до конца, выжечь до конца каленым железом, как следовало бы настоящему марксисту-ленинцу. Те позиции, с которых я критиковал старую науку и пытался отыскивать новые пути, позиции, которые мне казались марксистско-ленинскими, не всегда были таковыми на деле. В своем понимании марксистско-ленинской методологии я допустил ряд ошибок механистического порядка и тем самым обесценил в известной мере и действенность своей критики и результаты своих конкретных исследований. А в итоге всех этих ошибочных установок у меня, вместо подлинной марксистско-ленинской науки, в ошибочной части моих работ периода 1929—1931 гг. получилась эклектическая смесь марксизма-ленинизма с механицизмом и даже с буржуазными теориями.

Важнейшие из моих ошибок конкретно сводятся к следующему.

В работе «За марксистскую историю материальной культуры» я в дискуссионном порядке определил понятие материальной культуры как «совокупность вещественных результатов общественного труда человечества», как «овеществленный человеческий труд». Хотя это определение и было широко распространено в марксистской литературе, но оно по существу является буржуазным. При таком определении история материальной культуры как наука должна изучать «вещественные результаты труда человечества», иными словами вещи, т. е. заниматься тем же, чем занималась старая археология — вещеведением. Конечно, прямо такие выводы в отношении задач истории материальной культуры я не только не делал, но, наоборот, во всей своей книжке, как и в других работах, вел беспощадную борьбу именно с вещеведением. Я писал: «вещи важны для нас вовсе не сами по себе, но только как знаки общественных отношений, знаки, по которым можно восстановить формы социальной жизни человеческих обществ в отдаленном прошлом, раскрыть общественно-технологическое отношение человека к природе на всем протяжении развития общества»; «в конечном счете, вопреки старой археологии, изучается не вещь, не стиль, не форма предмета, а общественная формация, с которой данный вещекомплекс связан». И т. д. Я упорно настаивал на требовании «широкого охвата всего материала, могущего быть привлеченным к той или иной проблеме: исторического (т. е. данных письменных источников), лингвистического, этнографического и пр.», я указывал, что «историки материальной культуры не должны замыкаться в узком круге вещевого, в частности чисто раскопочного материала», и в основной, т. е. критической, части своей работы ни разу не сбился на вещеведческие позиции. Но эти правильные положения оказывались у меня соединенными с положениями неправильными, а это и есть эклектика, эклектика, в которой буржуазные установки соединены с марксистско-ленинскими. Вместо того чтобы правильно и последовательно везде провести мысль, что история материальной культуры есть наука истории материального производства, я примешал сюда старое понятие науки о вещах, и получилась эклектика, доказавшая, что из-под влияния буржуазной археологии в 1929—1930 гг. я полностью освободиться еще не мог. Я выгнал вещеведение в дверь, а оно у меня против всякого моего желания полезло обратно в окно.

Далее, я объявил, — и совершенно правильно, — что «применение принципов диалектического материализма определяет частную методологию истории материальной культуры». Но, характеризуя ближе эту частную методологию, я выдвинул так называемый «комплексный метод», как яко бы основной для истории материальной культуры, противопоставляя его формально-типологическому. У меня было вполне законное намерение подчеркнуть требование изучать источники, в частности вещественные памятники, в их взаимной связи, а не изолированно, как это делала формально-типологическая методология, изучать источники в комплексе, т. е. в реальном целостном единстве. Под комплексом я понимал «всю материальную культуру конкретного общества в данный момент или отрезок его развития, в ее конкретном своеобразии, во взаимной связанности отдельных элементов культуры друг с другом и со всеми могущими быть учтенными общественными явлениями» и требовал привлекать к изучению истории общественной жизни разнородный, но внутренно связанный в единый комплекс материал. В этом нет ничего неправильного. Но что представляет выдвинутое мною требование изучения источников и восстанавливаемых по источникам процессов в их взаимной связи? Конечно, одно из требований единого метода диалектического материализма. Мне незачем было выдвигать какой-то особый, хотя бы и подчиненный методу диалектического материализма «комплексный метод» и — этого я не хотел, но это так вышло — ставить его в генетическую связь с буржуазной методологией Гроссе, Гребнера, Siedlungsarchäologie, с установками эклектика В. К. Никольского и т. д. При чтении моей книжки легко может возникнуть мысль, что мой комплекс имеет какое-то внутреннее сродство с «культурными кругами», «культурными группами» и т. п. категориями буржуазной археологии, от чего я субъективно был, конечно, весьма далек и, наоборот, на страницах своей книжки, посвященных Siedlungsarchäologie и палеоэтнологии, разоблачил реакционную сущность теории «культурных кругов». Ошибка здесь у меня та же самая, что и с определением задач истории материальной культуры. Не порвав окончательно с буржуазной археологией, я здесь совершенно непроизвольно в понятии особого комплексного метода соединил буржуазную науку с марксистско-ленинской. Существует единый метод диалектического материализма, как аналог единой действительности, и выдумывать другие методы для марксиста недопустимо.

Власть буржуазных традиций сказалась у меня и в том, что я нередко переоценивал значение буржуазных ученых, например, Монтелиуса, Ростовцева и др. Критика моя буржуазных школ в ряде случаев не доведена до конца. В критике формально-типологической методологии — впервые мною данной — я

указал ряд ее специфически буржуазных признаков: идеализм, формализм, фетишизм и т. д., но не показал классово-философских корней этой методологии, уходящих в кантианство. Я разгромил буржуазную методологию В. А. Городцова и его школы. В отношении самого В. А. Городцова я указал — и очень четко — классовые корни его концепций, их реакционный смысл. Но в отношении учеников В. А. Городцова не сделал этого с достаточной определенностью, и, например, этот недостаток моей статьи в № 9/10 «Сообщений ГАИМК» за 1931 г. пришлось восполнять С. Н. Быковскому, который в своей передовой статье дал политическо-классовую квалификацию вскрытых мною уклонов и извращений, допущенных московскими учениками В. А. Городцова. Точно также я не дал развернутой классовой характеристики клеветнической работы А. В. Шмидта о «Развитии взглядов Маркса на первобытное общество», не выявил в своей критике ее политическое значение, не показал социальную подоснову марксистскообразного фразерства Б. Л. Богаевского и т. п. Другая категория моих ошибок вытекала из некоторой засоренности моих взглядов не вполне изжитыми механистическими установками. Я уже отмечал это в своей статье о системе механистических ошибок московской группы археологов (№ 9/10 «Сообщений ГАИМК»). Формулировки о ведущих и определяющих социально-экономический строй общества орудиях труда являются типичными примерами моих ошибок этого рода. Сюда же относится и применение термина «антагонизм» к некоторым отношениям доклассового общества, попытка открыть в доклассовом обществе две формации, неверное толкование взглядов Маркса на азиатский способ производства, как якобы связанный с так называемой общинно-родовой формацией, т. е. с доклассовым обществом. Довольно отчетливо выступили в моих работах и богдановские взгляды. В работе, вышедшей из печати в 1924 г., я стоял на богдановской точке зрения по вопросу о происхождении анимизма, в 1928 г. писал об экономическом господстве вождей и старейшин над остальной массой, в 1929 г. — об организаторах, даже в 1931 г. о противоречии между частной собственностью вождей и коммунистической структурой общества. Правда, во всех моих высказываниях были существенные отличия от богдановщины. Я никогда в практике исследовательской работы не выводил производственные отношения прямо из техники и классы из вождей-организаторов без частной собственности на средства производства, как это делал Богданов. В работе же 1931 г. богатство вождей я выводил из имущественной дифференциации между семьями разлагающегося доклассового общества, а не наоборот. Но все же окончательно устранить богдановщину из своих представлений до последнего времени мне не удалось.

Таковы мои основные ошибки в прошлом. Критика моих работ, появившаяся и в форме докладов и в форме печатных статей, к сожалению, очень мало помогла мне вскрыть эти ошибки и от них освободиться. Прежде всего она очень запоздала, и почти все указанные критиками ошибки, за исключением богдановщины, были осознаны мною самим гораздо ранее. Приступив задолго до появления критики к новой переработке своей книжки «За марксистскую историю материальной культуры», я, как это известно ряду товарищей, дал новые и верные установки, исправляющие прежние указанные выше мои эклектические заблуждения. Особенно же печально то, что мои критики перемешали совершенно правильные замечания с грубыми собственными ошибками; кроме того, сплошь и рядом в порыве критического восторга приписывали мне такие ошибки, в которых я ни в малейшей степени не повинен.

В интересах борьбы на два фронта и в интересах установления правильного понимания затронутых моими критиками вопросов считаю целесообразным остановиться несколько подробнее на взглядах, развитых в печатных статьях о моих работах.

По поводу статьи тт. Кричевского и Смирнова «Побольше марксистско-ленинской четкости в вопросах истории доклассового общества» («Сообщения ГАИМК», 1931, №№ 11—12) о моей работе «К вопросу о социологической периодизации палеолита» необходимо сделать следующие замечания.

Допустив в этой последней работе механистические формулировки («типические, ведущие и в значительной мере определяющие качественное своеобразие производственных отношений орудия труда — показатели способа производства» и т. п.), ошибочность которых в настоящее время для меня очевидна, в своей «периодизации» на деле этих формулировок я не реализовал, т. е. прямо из орудий труда формы производственных отношений не выводил. Я основывался на известном указании Маркса: «средства труда не только мерило рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд», и писал, что «в процессе выделения таких орудий или их комплексов (т. е. комплексов, характеризующих экономику изучаемой стадии первобытного общества) необходимо, конечно, ориентироваться на совокупность производственных отношений, характерных для этих орудий, органически с ними связанных, в них отраженных, а не на форму орудий или технику их изготовления, взятых в себе... Расшифровывая орудия как показатели производственных отношений, мы вместе с тем пользуемся другой сокровищницей фактов — наблюдениями над бытом современных отсталых народов, а равно привлекаем возможность истолкования пережиточных надстроечных явлений в нашем быту» (стр. 22—23 моей работы). В начале своей «Социологической периодизации палеолита» (стр. 6—7) я недвусмысленно подчеркивал: «Изучение общественной жизни в полном ее объеме есть главная задача и т. н. доистории, т. е. собственно ранней истории... Необходимо изучать средства труда не сами по себе, а по средствам труда восстанавливать исчезнувшие общественно-экономические формации. Но такая задача не может быть выполнена лишь на основе данных археологии и геологии. По средствам труда, найденным археологами в земле, восстанавливать и изучать давно угасшую, качественно несравнимую с нашей современной общественную жизнь людей можно, опираясь прежде всего на этнографию, изучающую жизнь отсталых народов, сохранивших в своем быту комплексы материальной культуры, в частности комплексы орудий труда, сходные с находимыми в земле остатками прошлой общественной хозяйственной жизни... Если между элементами общества... существует закономерная связь, то, установив конкретные формы этой связи путем изучения современных отсталых обществ, мы можем, отправляясь от тех или иных найденных археологами элементов, особенно от таких важных, как орудия труда, как техника производства, восстанавливать в главных чертах всю древнюю общественную формацию в целом... Таким образом, не только этнография, но и лингвистика, и история форм поведения, и история идеологии, история религии, история искусства и другие науки должны кооперироваться с археологией в общем деле реконструкции и изучения древнейших общественных формаций».

Методологическая линия здесь совершенно ясна. Производственные отношения не выводятся механически из орудий труда, а восстанавливаются и изучаются на основе анализа весьма сложного ряда фактов (этнографических, лингвистических и т. д.). Но раз типы производственных отношений установлены

и связь их с определенным комплексом вещественных памятников обнаружена, мы, находя подобный комплекс в земле (а в таком комплексе всегда можно выделить наиболее характерные, наиболее показательные орудия труда), отправляясь от него, но опираясь на всю сумму вспомогательных данных, можем производственные отношения общества, от которого данный комплекс до нас дошел, изучать и восстанавливать. Отвергая эту возможность, мы должны отказаться вовсе от изучения истории конкретных обществ, от которых мы имеем только вещественные памятники, т. е. занять в отношении таких обществ позицию агностицизма. Но на что мы будем опираться в исторической реконструкции картины производственных отношений этих обществ? На надстроечные явления? На предметы бытовой обстановки? Да, но только косвенно и лишь в известной мере. Главная наша опора, как указал Маркс, конечно, средства труда, являющиеся показателем общественных отношений. Вспомним, что Маркс говорил также об *адэкватном техническом базисе* крупной капиталистической промышленности. Думаю, что и для каждого качественно своеобразного этапа развития доклассового общества тоже существовал ему адэкватный технический базис, представляющий совокупность наиболее характерных орудий труда.

Только в таком смысле говорил я о ведущих типах орудий труда и периодизацию палеолита давал не по орудиям труда, а по производственным отношениям («это будет, конечно, периодизация социологическая, периодизация... по производственным отношениям» — стр. 23 моей работы). Стоит внимательно, а не так, как мои критики, прочитать характеристику выделенных мною стадий, чтобы в этом убедиться. Первая стадия, соответствующая так наз. шелльской и ашельской эпохам Мортилье, характеризуется у меня отсутствием разделения труда, простым сотрудничеством,[1] как основным типом производственных отношений. Откуда я узнал о существовании такой стадии? Отнюдь не из простого умозаключения от формы шелльских и ашельских орудий труда. Прежде всего сам Маркс выделял начальную стадию развития общества, когда разделения труда не было.[2] Затем лингвистическая школа Н. Я. Марра в своем анализе процесса происхождения и развития языка уперлась в необходимость предположения такой исходной стадии с полным отсутствием разделения труда и, следовательно, отсутствием какой бы то ни было дифференциации общества. Этнография о данной стадии, конечно, молчит, так как нет ни одной народности, живущей сейчас на этой стадии. Но зато шелльские и ашельские орудия труда, взятые со стороны не их формы, а функции, вполне подтверждают мнение Маркса и данные лингвистики. Ручное рубило, этот в максимальной мере недифференцированный тип орудия труда, употреблялся всеми членами первобытного стадного общества для самых разнообразных целей. Такое орудие труда как нельзя более ярко отражает недифференцированность общества, простое сотрудничество, а не разделение труда, как тип производственных отношений. Поэтому я и обозначил ручное рубило как орудие-показатель производственных отношений данной стадии, имея в виду, конечно, не форму орудия, а его функции. Стадию же я выделил по производственным отношениям, а не по орудиям труда, так как из последних производственные отношения прямо вывести невозможно. Существовала в действительности такая стадия? Правильно она мною охарактеризована на стр. 27 — 28 моей работы? Об этом мои критики молчат. А ведь следовало бы, собственно, критиковать мою периодизацию по существу, т. е. конкретно, не ограничиваясь (впрочем, вполне своевременной и актуальной) критикой отдельных неверных положений.

Следующая стадия характеризуется у меня крупным сдвигом — и опять-таки прежде всего в производственных отношениях (стр. 28 — 29). Появляется разделение труда в возрастно-половой форме, возникает охота на крупного зверя, требующая более совершенных орудий труда (копье, дротик, скребло для обработки шкур животных и т. д.) и более сложной организации труда. Можно такую стадию выделить и можно считать для нее характерным мустьерский остроконечник и мустьерское скребло, появившиеся вследствие возникших на предыдущей стадии противоречий, указанных мной на стр. 28 (противоречие между развивающейся охотой и непригодными для нее орудиями шелльских и ашельских типов)? И этот вопрос критики не удостоил своим вниманием. Далее, мною, опять-таки по типам производственных отношений (новый этап развития разделения труда, выделение старейшин и руководителей производства, дальнейшее развитие полово-возрастных различий, дифференциация общества), выделена следующая стадия, обозначенная как тотемистическое общество, и орудия, для нее характерные, названы показателями производственных отношений (стр. 30 — 31). Здесь я, кроме лингвистики и археологии, прямо использовал и этнографию, что указано в моем тексте. Правомерность включения данной стадии в периодизацию палеолита попрежнему оставлена без малейших замечаний со стороны моих критиков.

Почему критика тт. Кричевского и Смирнова прошла мимо конкретного содержания выделенных мною стадий? Я в своей периодизации опираюсь на конкретный материал, мои критики — на общие методологические соображения Конкретные данные их не интересуют, и, в сущности, всю свою аргументацию они пускают на холостой ход. Пренебрежение к конкретным фактам у них доходит до того, что они отмахиваются, например, от схемы Мортилье и даже ставят мне в вину, что я этой схемой пользуюсь. Но что такое схема Мортилье? Это эмпирически, путем раскопок, путем точных стратиграфических наблюдений установленная последовательность развития материальной культуры, представленной комплексами вещественных памятников эпохи палеолита, последовательность, взятая в ее общей типической форме и обоснованная множеством постоянно наблюдающихся явлений. Схема Мортилье — это сжатая сводка систематизированных фактов, и пока эти факты не опровергнуты, нет никаких оснований для марксиста данную схему игнорировать. Вот когда тт. Кричевский и Смирнов докажут, что, скажем, не ориньякский комплекс следовал за мустьерским, а наоборот, что соответствующие стратиграфические наблюдения Мортилье и других ученых неверны, — тогда можно будет от схемы Мортилье отказаться и принять более соответствующую фактам схему. Но пока что все другие схемы палеолита (критику их я даю на стр. 2 — 5 своей работы) исходят из тех же фактов, но в интерпретации их проводят резко враждебную нам линию — империалистической идеологии (напр., теория культурных кругов) и предпочесть их схеме

[1] Мои критики полагают, что простое сотрудничество есть не общественная, а натуральная форма труда (см. их примечания на стр. 38). Уже одно это показывает, насколько недостаточно они понимают конкретные особенности доклассового общества, периодизировать развитие которого они берутся. По их мнению, значит, на раннем этапе развития доклассового общества труд еще не был общественным трудом. Один шаг — и перед нами «история индивидуальных поисков пищи» Бюхера.

[2] Соответствующая аргументация дана в моей критике работы А. В. Шмидта, Известия ГАИМК, т. XI, в. 5 — 6, преимущественно стр. 42 — 43.

Мортилье для марксиста недопустимо. Из сказанного не следует, что схему Мортилье мы должны взять слепо и механически. Мы берем — и при том только критически — ее фактическое содержание, т. е. как классификацию материала, а не в качестве периодизации развития общества. Периодизацию развития общества эпохи палеолита мы строим совсем на других основаниях.

Не придавая должного значения конкретной части моей работы, тт. Кричевский и Смирнов в то же время приписывают мне никогда не разделявшиеся и не защищавшиеся взгляды.

Так, мои критики объявляют (стр. 31), что они будут заниматься разбором «основного положения т. Равдоникаса — периодизации развития общества на основании *типов* орудий труда», хотя на деле, как показано выше, моя настоящая периодизация дана по типам производственных отношений. Если бы речь у меня шла о периодизации по типам орудий труда, мне нечего было бы выдумывать новую периодизацию, так как все существующие до сих пор периодизации основываются именно на типах орудий труда. Утверждая, что я согласно выдвинутым мною принципам периодизации должен был бы ирокезов, древних мексиканцев и меланезийцев объединить в один период, так как все эти общества имеют мотыгу как основное орудие, они забывают, что я беру как показатель не отдельный вид орудия, а характерный для каждой стадии комплекс разных орудий (см. таблицу и соответственный текст моей работы), а производственные отношения восстанавливаю не только по орудиям труда. Возражая против «периодизации человеческой истории на основании произведений искусства» (стр. 32), критики воюют с чучелом, так как подобная периодизация мною, конечно, никогда и нигде не выдвигалась. Заявление критиков, что произведения искусства являются «также (очевидно, также как средства производства) показателями определенных производственных отношений», указывает, что ими не понята качественная разница между средствами производства и надстроечными явлениями, не понята мысль Маркса о том, что «средства производства являются показателями общественных отношений, при которых совершается труд». «Не орудия труда, а характер производственных отношений — вот единственный объективный критерий марксистской периодизации истории», пишут критики (стр. 32). Но разве я не писал в своей работе то же самое? Разве я не периодизировал как раз по производственным отношениям, пользуясь комплексами орудий труда вместе с другими данными как сигналами производственных отношений? Почему же мои критики обошли молчанием все соответствующие указанные выше места моей работы и, главное, конкретное содержание выделенных в моей периодизации стадий? Почему они, наконец, забыли, что Энгельс считал правильной основу известной периодизации Моргана, повторил эту периодизацию в своем «Происхождении семьи» и полагал, что «картина перехода человечества из дикого состояния и варварства... представляет много нового и, что еще важнее, бесспорного, так как характерные черты этой картины заимствованы непосредственно из области производства жизненных средств». Энгельс, таким образом, ставил в заслугу Моргану, что он устанавливал свои периоды и внутри их отделы «смотря по успехам в производстве жизненных средств». Мои же критики, очевидно, придерживаются совсем другого мнения.

Отвергая мою периодизацию, тт. Кричевский и Смирнов выдвигают свою, не основываясь при этом на изучении конкретной истории доклассового общества. Характер и способ соединения рабочей силы и средств производства — этот основной критерий для периодизации развития общества *по формациям* — они считают возможным применить как критерий для установления периодов или стадий *внутри* доклассовой формации, решительно осуждая меня, что я от этого критерия для последней цели отказываюсь.[1] Но ведь суть дела в том, что способ соединения рабочей силы и средств производства на всем протяжении развития доклассового общества, за исключением периода разложения последнего, т. е. периода возникновения классового общества, не изменялся. Об этом мои критики должны знать хотя бы потому, что сами они цитируют известное место из «Теорий прибавочной стоимости» Маркса, в котором он говорит о «первоначальном единстве между рабочими и средствами производства», характерном для первобытного коммунизма, и о разрыве между трудом и собственностью, характерном лишь для классового общества (диалектически начало этого разрыва лежит в периоде разложения доклассового общества). Если же в доклассовом обществе между рабочими и средствами производства существовало единство, если, следовательно, способ соединения рабочей силы и средств производства тогда был одним и тем же и не изменялся, то разве возможна какая бы то ни было периодизация доклассового общества на основе этого критерия? Думаю, что невозможна, как невозможна она вообще внутри любой другой формации. Попробуйте периодизировать капитализм по способу соединения рабочей силы и средств производства и вы придете к выводу, что капитализм в известные периоды есть не капитализм, а нечто совершенно иное, — что именно — неизвестно. Допустим обратное, т. е. согласимся на минуту с моими критиками, и мы неминуемо придем к отказу от теории первобытного коммунизма, т. е. примкнем к лагерю буржуазных идеологов. Периодизировать процесс можно лишь по переменным признакам. Сама постановка проблемы периодизации доклассового общества по способу соединения рабочей силы и средств производства основывается на скрытом предположении о качественной изменяемости этого способа в пределах доклассового общества. Изменяться же он мог только в сторону указанного выше разрыва между собственностью и трудом, в сторону ликвидации общественной собственности на средства производства. Ведь у Маркса речь идет не о техническом, а об общественном соединении рабочей силы и средств труда. Можно допустить, что такой разрыв в какой бы то ни было общей форме уже существовал в доклассовом обществе? Думаю, что нельзя. В последние этапы развития доклассового общества возникает, конечно, дуализм частной и общественной собственности, но это, повторяю, есть уже зародыш классового общества. В основном же доклассовое общество с самого начала и до конца сохраняет единство рабочей силы и средств производства, иначе оно не было бы первобытно-коммунистическим. Это и заставило меня отказаться от применения данного критерия к периодизации дородового общества, совпадающего с эпохой палеолита, так как подвергать сомнению существование первобытного коммунизма в эту эпоху я, конечно, не имел ни малейшего основания, хотя критики пытаются навязать мне не только подобное сомнение, но даже прямое отрицание первобытного коммунизма.

[1] «Отрицая применимость в качестве критерия для периодизации истории доклассового общества характера и способа соединения рабочих и средств производства, т. Равдоникас тем самым отрицает применимость для построения «социологической периодизации» доклассового общества такого основного критерия всякой подлинной социологической периодизации человеческой истории, как производственные отношения» (стр. 33 статьи тт. Кричевского и Смирнова).

Наибольший теоретический интерес в статье тт. Кричевского и Смирнова имеет выдвинутый ими вопрос об основных закономерностях развития доклассового общества. Они полагают, что ведущим противоречием доклассового общества было «противоречие низкого уровня развития производительных сил, неразвитой техники, примитивных орудий труда, по своей природе требующих индивидуального пользования ими с одной стороны и кооперативного производства, коллективной собственности с другой» (стр. 35). Считаю это их положение в данной формулировке ошибочным и неприемлемым, но, ввиду большой теоретической важности настоящего вопроса, сейчас, т. е. попутно и мимоходом, останавливаться на нем не буду, а изложу свое мнение в особой статье.

Исходя из указанной выше якобы основной закономерности доклассового общества, мои критики выделяют в развитии архаической формации только два периода: 1) первобытно-коммунистическая община и 2) мелкое родовое сельское хозяйство. Но разве таким делением решается проблема периодизации палеолита (дородовое общество), являющаяся предметом моей работы? Эпоха палеолита ведь совпадает с периодом первобытно-коммунистической общины, и вопрос был мною поставлен *о более дробной* периодизации. Или критики считают, что такая периодизация не нужна?

Тт. Кричевский и Смирнов упрекают меня в игнорировании категории собственности при разделении доклассового общества на периоды.

«Характерно, что такая основная категория, как собственность, полностью отсутствует в той таблице, которая носит название «развитие доклассового общества», пишут мои критики. «Именно этим объясняется, что основным типом производственных отношений архаической формации т. Равдоникас, наряду с коллективной собственностью на землю, считает прогрессирующее разделение труда. Здесь перед нами то фетишизирование категории разделения труда, за которую Маркс жестоко критиковал Прудона».

Хотелось бы знать, каким образом можно периодизировать дородовое общество, к которому относится палеолит, по формам собственности? Жаль, что тт. Кричевский и Смирнов не дали хотя бы наброска подобной периодизации. По-моему, основная форма собственности для всей эпохи первобытного коммунизма одна — это собственность коллективная или, как говорил Маркс, собственность родовая. Личное пользование отдельными предметами потребления (например, украшения, одежда и т. п.) и даже орудиями труда отнюдь не противоречит коллективной собственности. Ведь всякий предмет потребления в момент потребления неизбежно поступает в личное пользование. Главный вопрос не в этом, а в том, когда частная собственность вторгается в производство. Это случилось на последних этапах развития доклассового общества, и отыскивать частную собственность на средства производства в дородовом обществе значило бы опять-таки подвергать первобытный коммунизм сомнению.

Во всем своем дальнейшем изложении по поводу применения мною понятия формации к доклассовому обществу и по поводу моего якобы заимствования богдановской концепции происхождения государства критики проделали ряд довольно сложных манипуляций, состоящих в подборе множества выхваченных из контекстов отдельных удачных и неудачных фраз моей статьи и в составлении из этих фраз таких замысловатых построений, которые дали бы возможность моим критикам легко и быстро опровергнуть плоды их собственного, повидимому, кропотливого труда. Зачем тт. Кричевскому и Смирнову нужно было фабриковать и приписывать мне такие «концепции», которые мне не снились и во сне? В моей работе достаточно подлинных ошибок; лучше было бы ограничиться серьезным разбором таких ошибок, чем воевать с чучелом.

Так, критики пишут: «то, что т. Равдоникас приписывает основоположникам марксизма отрицание применимости характеристики общинно-родовой формации к обществам, не знакомым с земледелием и скотоводством, показывает, что т. Равдоникасом не понята основная концепция исторического материализма — общественно-экономическая формация. Земледельческо-скотоводческая формация — вот социологической периодизации Равдоникаса достойные плоды» (стр. 38). Перед этим идет длинный разбор этого якобы моего взгляда с цитированием статьи М. Н. Покровского против Рожкова, с попытками чтения моих работ между строк и т. п.

Но что сказано в моей работе по данному вопросу в действительности? Я доказывал, что учение Маркса об архаической формации сложилось в результате изучения общины и рода на различном конкретном материале земледельческих и скотоводческих народов. В этом смысле я и употреблял термин «общинно-родовая формация», указывая, что прямо, т е. без дальнейшего конкретного изучения, механически понятие общинно-родовой формации и ее периодизацию к дородовому обществу применять нельзя, что нужно дать такую периодизацию на основе новых исследований. Я писал: «Во времена Маркса знания о палеолите находились в периоде первоначального накопления, и ни Маркс, ни Энгельс никогда пристально не направляли свое внимание в эту возникавшую область науки (стр. 19)... Дородовое общество его [т. е. Маркса] не интересовало, хотя наличия этой самой ранней фазы развития общества он никоим образом не отрицал и не считал, что человечество начало свою историю прямо с рода. Так, например, Маркс пишет: «Возьмем, например, пастушеские народы (народы, занимающиеся исключительно охотой и рыболовством, лежат за пределами того пункта, где начинается действительное развитие...». Значит, общества, существующие на основе охоты и рыболовства — а сюда как раз и относится весь период палеолита, — Маркс не отрицал» (стр. 20). То же самое я доказываю в отношении Энгельса и заключаю: «Таким образом основоположники марксизма признавали факт существования дородового общества, с которым связаны палеолитические культуры, но не успели овладеть полнотой относящегося сюда главным образом археологического материала и потому развитой концепции дородового общества нам, к сожалению, не оставили. Дать такую концепцию — задача нашего времени» (стр. 21).

Таким образом, моя мысль заключалась в следующем: Маркс и Энгельс палеолитом и дородовым обществом, существовавшим на основе охоты и рыболовства, почти не занимались (заметьте, тт. Кричевский и Смирнов, — не всяким охотничье-рыболовческим обществом, а вполне конкретно — дородовым, палеолитическим обществом; только о последнем обществе везде идет у меня речь, и потому нелепостью являются не мои утверждения, а ваша собственная ссылка на современные «родовые общины Северной Америки и Азии с сложной экономической структурой», не знакомые, однако, ни с земледелием, ни со скотоводством), их концепция доклассовой формации сложилась на основе изучения более поздних периодов, когда существовало земледелие и скотоводство, и наша задача — конкретно выяснить социально-экономическую природу дородового общества и уже после этого решать вопрос о периодизации последнего и о месте его в архаической формации Маркса. Согласитесь, что отсюда до «земледельческо-скотоводческой формации» еще очень далеко. Отдельные неудачные выражения снимаются общим контекстом моей работы.

О том, что такое социально-экономическая формация, я писал следующее: «Как подходили Маркс, Энгельс и Ленин к вопросу о периодизации развития общества вообще? Они устанавливали большие периоды — общественно-экономические формации, основанные на единстве способа производства. Изменения в способе производства вызывают смену общественно-экономических формаций... Что такое способ производства? Это единство производительных сил и производственных отношений в их конкретном качественном своеобразии, единство формы (производственные отношения) и содержания (производительные силы)» и т. д. (стр. 7 моей работы). «Доклассовое и особенно дородовое общество настолько качественно отлично от классового, что, может быть, в его периодизации следует исходить не из понятия формации, применяя последнее лишь ко всему доклассовому обществу в целом, т. е. включая в архаическую формацию Маркса и дородовое общество, как совокупность наиболее ранних этапов этой формации» (стр. 23). Из этого видно, насколько позволительно приписывать мне «земледельческо-скотоводческую формацию» и т. п. В таблице «Развитие доклассового общества» я включаю в архаическую формацию родовое общество с мотыжным земледелием и ранним скотоводством. Моя действительная ошибка по данному вопросу заключалась в следующем. Основываясь на ленинском определении формации как совокупности данных производственных отношений, как особого социального организма, имеющего особые качественные своеобразия и особые закономерности развития, я допускал возможность путем конкретного изучения доклассового общества установить в развитии последнего такие периоды, которые подходили бы под это ленинское определение формации. История доклассового общества охватывает громадный период времени, в течение которого происходили изменения в производственных отношениях, в языке (чего стоит один переход от кинетической речи к звуковой), в способе мышления (вспомним стадии мышления у Н. Я. Марра), в физическом типе самого человека (вспомним разницу между питекантропом, неандертальцем и кроманьоном). Мне казалось, что этот столь продолжительный и чреватый столь важными сдвигами путь развития доклассового общества, может быть, в результате, повторяю, конкретных исследований, будет разделен на такие отрезки, глубокое качественное своеобразие которых даст право назвать их формациями. Высказывался я об этом в порядке постановки проблемы и в категорической форме несколько формаций в доклассовом обществе никогда не устанавливал. Только в отношении самой ранней, действительно глубоко качественно-своеобразной стадии, соответствующей так наз. шелльской и ашельской эпохам, когда человек только что выделился из животного состояния и когда производственные отношения не выходили за пределы простого сотрудничества, я не удержался от искушения, желая подчеркнуть своеобразие этой стадии, применить к ней действительно безграмотный термин «предформация».

В настоящее время я даже и проблематично не считаю возможным ставить вопрос о множественности формаций в доклассовом обществе, так как на всем протяжении развития этого общества основной признак формации — способ производства, способ соединения рабочей силы и средств труда — не изменялся (вопреки моим критикам) и, следовательно, формация была одна. Периоды, через которые она прошла в своем развитии, сколь бы они ни были качественно отличны друг от друга, нужно обозначить термином «стадия» или «этап».

Количество искажений, которые вносят тт. Кричевский и Смирнов, не допускает останавливаться на каждом из них в отдельности, так как для этого пришлось бы привлекать все мои контексты и удлинить данную статью до чрезвычайности, не говоря уже о том, что это было бы весьма скучным занятием и для меня и для читателя. Для примера остановлюсь только на одном из таких искажений, на приписывании мне богдановской теории происхождения государства.

Выше я уже указал, что богдановщина у меня была, и частично соответствующие ошибки правильно указаны критиками, но в данном вопросе в богдановщине я не повинен.

По отношению к вождям и старейшинам доклассового общества я применял богдановский термин «организатор», желая подчеркнуть этим термином социальную роль вождей в организованном коллективном труде, в производстве и социальной жизни первобытно-коммунистических общин. Суть дела не в термине, а в понятии, с которым термин связан. Думаю, что организаторские функции вождей вряд ли могут быть подвергнуты сомнению. Но от термина «организатор», учитывая его специфическое богдановское значение, действительно, нужно отказаться, и пользовался я этим термином совершенно напрасно.

Мои критики против понятия, с которым я связываю термин «организатор» в контексте на стр. 30 моей работы, не возражают («в этом утверждении, рассматриваемом само по себе, нет ничего неправильного» и т. д.). Их «заставляет насторожиться» терминология, и они немедленно приступают к раскрытию такого смысла этой терминологии, которого у меня нет и тени. «Смысл этой терминологии», пишут критики, «становится нам понятным, если мы обратимся к рассмотрению взглядов т. Равдоникаса на азиатский способ производства».

Рассмотрение же моих взглядов на азиатский способ производства привело критиков вместо указания на действительную и важную ошибку — на отожествление азиатского способа производства с одним из этапов развития доклассового общества — к утверждению, что из общинного и междуобщинного организаторского слоя я вывожу прямо, без всяких других данных, в частности без собственности на средства производства, господствующий класс и государство азиатского общества. «Тов. Равдоникас сам вскрывает содержание своего понимания государства», подводят итоги своему «рассмотрению» мои критики. «Государство и по Равдоникасу является организацией господствующего класса. Все дело лишь в том, что классы в понимании Равдоникаса и есть богдановские организаторы производства. Кто входит, по Равдоникасу, в состав господствующего класса? Военные, жрецы и бюрократы... Какой марксист может допустить такую мысль!.. Что это, как не организаторы войны, культа и управления Богданова? Основной конститутивный признак класса — монополия на средства и условия производства [Спасибо, тт. Кричевский и Смирнов, за разъяснение! *В. Р.*], монополия, аттрибутом которой является и господство на войне и руководящее положение в управлении и культе. Богдановский взгляд на классы как на организаторов производства привел т. Равдоникаса к подмене господствующего класса должностными лицами его, которые, послушно выполняя волю господствующего класса, не занимают никакого самостоятельного места в общественном строе производства. Свести господствующий класс к бюрократам, воинам и жрецам это значит, по существу, превратить государство в надклассовую организацию чиновников и попов».

Удивительная вещь! Критики приписывают мне такие взгляды, которых я не только не высказывал, но, наоборот, против которых была направлена вся моя полемика по вопросу об азиатском способе производства, послужившая тт. Кричевскому и Смирнову материалом для столь неожиданных заключений. В чем здесь дело — загадка для психологов.

Я писал: «Сторонники мнения, что азиатский способ производства предполагает национализацию земли, центральное правительство, ренту в форме налога — и все это при отсутствии частной собственности на землю, при отсутствии якобы классов или при существовании господствующего класса с поистине трансцендентальной социально-экономической природой, — глубоко заблуждаются» (стр. 14 моей работы). Я доказывал, что там, где существует (в азиатских обществах) государство, оно является организацией господствующего класса земельных собственников-феодалов. «Что представляет собою здесь азиатское государство?» спрашивал я в своей работе. «Отвлеченную, надобщественную внеклассовую силу божественного происхождения, ипостазированную в лице восточного деспота? Какой марксист может допустить такую мысль! Государство есть организованное господство класса. Практически верховная собственность на землю азиатского государства была собственностью высшего класса данного общества, т. е. класса военных жрецов и бюрократов».

Тут, кстати, можно разъяснить указанную выше психологическую загадку. Тт. Кричевский и Смирнов цитируют данное место моей работы и на последней фразе останавливаются, отсекая весь последующий контекст. А в нем за этой последней фразой значится. «Этот класс выступает здесь в роли класса-эксплуататора, а эксплуатация в конечном итоге основана на верховной собственности на землю при наличии прикрепления владеющих средствами производства земледельцев к земле, т. е. является именно феодальной формой эксплуатации, как и этот господствующий класс является классом феодалов» стр. 12).

Отсечение этой части моего контекста критиками разъясняет «психологическую загадку». Чем? Недостаточным вниманием тт. Кричевского и Смирнова к моей работе. Психология здесь не слишком сложна. Если бы они добросовестно процитировали это место, от них ускользнула бы приятная возможность поучать меня азбучным истинам марксизма («основной конститутивный признак — монополия на средства производства» и т. п.).

По той же самой причине (невнимательность, если не сказать больше) они не потрудились привести такие, например, разъясняющие мои подлинные взгляды места из моей работы: «Азиатский феодализм имеет, конечно, свои специфические черты, но это все же феодализм или один из этапов, один из конкретных вариантов феодализма, а не что-либо иное. Решающим моментом здесь является форма эксплуатации, которую Маркс считал сокровенной основой всего общественного строя классового общества» (стр. 12). «Правительство и бюрократия как класс, пользующийся прибавочным продуктом в форме налога-ренты, — класс, эксплуатирующий сельские общины в феодальной форме эксплуатации, т. е. на основе верховной собственности на землю правительства, военных, духовенства и бюрократии, разделять которых в социально-хозяйственном смысле, т. е. по их роли в производстве, невозможно» (стр. 14). И т. д.

Таким образом, возражая «азиатчикам», я доказываю, что социально-экономическая природа класса военных, жрецов и бюрократов азиатского общества заключалась в их собственности на землю, что, следовательно, они являлись классом феодалов и что в азиатском обществе на определенном этапе существовал феодализм, а тт. Кричевский и Смирнов уверяют, что я превращаю государство «в надклассовую организацию чиновников и попов», что я протаскиваю «богдановский взгляд на классы как на «организаторов производства» и т. п.

Критики с торжеством подхватывают мою фразу: «междуобщинный организаторский аппарат — зародыш будущей государственной власти», и восклицают, что ведь это же и утверждал Богданов. В действительности я опирался не на Богданова, а на Энгельса, который писал: «В каждой такой общине возникают с самого начала некоторые общие интересы, охранение которых должно быть вверено отдельным лицам, хотя и под надзором всего общества, — таковы: решение споров, подавление захватов отдельными лицами излишних прав; надзор за водоемами, в особенности в жарких странах, наконец, религиозные функции... Само собой разумеется, что эти лица снабжаются известными полномочиями и зачаточной государственной властью. Постепенно производственные силы растут; сгустившееся население создает в одном месте одинаковые, в другом различные интересы между отдельными общинами: их группировка в более крупные целые вызывает, в свою очередь, новое разделение труда и образование органов для охраны общин и защиты спорных интересов. Эти органы, занимая уже в качестве представителей общих интересов целой группы обособленное, а при известных обстоятельствах даже враждебное положение по отношению к каждой отдельной общине, вскоре получают еще большую самостоятельность... Нам нет надобности излагать здесь, каким образом эти самостоятельные общественные должности по отношению к обществу усилились современем до господства над ним; как слуга при благоприятных условиях постепенно превратился в господина и, смотря по обстоятельствам, является то восточным деспотом и сатрапом, то греческим начальником рода, то шефом клана кельтов и т. д.»[1]

Только в этом смысле я говорил о междуобщинном аппарате как о зародыше государственной власти. Настоящее государство из этого зародыша образуется только тогда, когда появляется класс собственников на средства производства, когда имущественная дифференциация между семьями общин приводит к образованию группы отслоившихся от массы членов общества собственников.

В чем сущность настоящих богдановских взглядов на данный вопрос? В том, что, по Богданову, организаторы доклассового общества становятся господствующим классом без всякой собственности на средства производства, в том, что господствующий класс возникает у Богданова из вождей-организаторов, а не путем имущественной дифференциации между семьями общин, не путем распространения вширь и укрепления частной собственности. «Абсолютная рента собственной феодальной эпохи», писали А. Богданов и И. Степанов, «первая зародышевая форма позднейшего нетрудового дохода, не стоит ни в какой связи с отношениями земельной собственности... При своем возникновении рента, как особый доход определенной группы лиц, отделяется от общей массы годового продукта постольку, поскольку организаторские функции, постепенно обособляясь от исполнительских, превращаются в специфическое занятие этой группы. Присвоение организаторами прямо и непосредственно вытекает из их экономических отношений к организуемым» и т. д.[1]

Насколько эта богдановская антимарксистская, политически крайне вредная «теория» сходна с моими мнениями, видно из всего вышеизложенного.

В статье И. И. Смирнова «Возможна ли марксистская история материальной культуры» правильно указаны некоторые ошибки моей книжки «За марксистскую историю материальной культуры». Но И. И. Смирнов далеко не во всем смог довести свою критику до конца и сделать ее производственно-полезной. Далеко не во всем его критика правильна. Как пример неуглубленности, незаконченности и потому бессилия из-

■

[1] Анти-Дюринг, изд. 1931 г., стр. 116. Подчеркнуто мной. *В. Р.*

вестной части критики И. И. Смирнова приведу его рассуждения о недостаточности моего критического анализа формально-типологической методологии. Отметив эту недостаточность, И. И. Смирнов возымел намерение дать более правильную критику, но вместо этого повторил мои же положения, объявленные им недостаточными. Он считает, что сущность типологического метода заключается в идеализме. «А показать эту идеалистическую сущность типологического метода очень легко», пишет И. И. Смирнов. «Идеалистическая сущность типологического метода в том, что он изучает законы развития вещей самих в себе («jede für sich» — Монтелиус, цит. по Равдоникасу, стр. 24). Этот отрыв вещей от общества, это абсолютирование вещи и есть одна из типичных форм проявления идеализма в общественных науках. Объективные общественные законы, обусловливающие возникновение и развитие орудий, предметов труда и средств труда, игнорируются, и «вещный мир общества» отрывается от общества. Тем самым создается какое-то особое царство вещей, которое «развивается по своим собственным законам». И т. д.

И. И. Смирнов не только берет мои цитаты из буржуазных авторов, не считая нужным чигать оригиналы, но прямо повторяет мои положения, выдавая их за свои, из данной мною следующей характеристики типологического метода: «Что в сущности происходит при последовательном применении типологического метода до конца? Материальная культура общества начисто отделяется от социально-хозяйственного целого с полным разрывом всех относящихся сюда социальных связей. Внутри самого вещного мира изменения происходят далее. Изолируются друг от друга типологические серии, изучающиеся как замкнутые мирки, «an und für sich»... Типологические серии составляются лишь по признаку формы вещей, часто без всякого учета их социальной семантики... Внутри типологических серий вещи неожиданно начинают жить призрачной самопроизвольной жизнью, как независимые ни от чего сущности, самовозникающие, саморазвивающиеся, сами собой порождающие все новые и новые ответвленные серии. Эволюционный закон абстрагирован от живого мира и мистически воплощен в мире вещей... Создается гнетущее впечатление именно фетишизации живущего замкнутой в себе жизнью и в то же время мертвого мира вещей... Этот ученый археологический фетишизм есть лишь рефлекс того органически присущего буржуазному сознанию товарного фетишизма. анализ которого дан Марксом на страницах «Капитала»... Идеалистичность всей концепции принимает законченный характер». Более развернутую критику типологического метода я дал на страницах 41 — 49 своей книжки, посвященных концепции В. А. Городцова, подчеркивая идеализм как основной момент этой концепции, указывая на фетишизацию вещей и на подмену законов развития общества «законами» развития вещей («закон индустриальной причинности», «закон индустриальной эволюции» и др.) как на самые характерные особенности формальной типологии.

Что моя критика формально-типологического метода все же недостаточна, — об этом было сказано выше. Я не показал философских основ типологического формализма, заключающихся в кантианстве, о чем у меня сейчас имеется уже статья, я не подчеркнул, что формализм как нельзя более свойственен буржуазному мышлению, так как он позволяет скользить по поверхности явлений, не проникая в их сущность, а буржуазия, в противоположность пролетариату, заинтересована не только в том, чтобы не вскрывать подлинной сущности общественных процессов, но, наоборот, заинтересована в их сокрытии. У И. И. Смирнова нехватило пороху вскрыть эти действительные недостатки, и он поэтому в данной части своей статьи вместо критики повторил мои же мысли. Какая кому от такой «критики» польза? Наряду с таким скольжением по поверхности статью И. И. Смирнова характеризует упорное стремление занять сверхлевые позиции, проявить самый крайний радикализм. Яркий пример — его рассуждения по поводу комплексного метода, в которых правильные взгляды и серьезные критические замечаания обесценены чисто левацкими фразерством и наскоками. Свои ошибки в конструировании «комплексного метода» я указал выше. И. И. Смирнов не ограничился анализом этих ошибок. Он ополчился против самой возможности изучения истории конкретных общественных образований, от которых до нас дошли главным образом или исключительно одни вещественные остатки. Если последовать за моим критиком, неизбежно придется отказаться от всяких попыток реконструировать общественные отношения по вещественным памятникам и, значит, или махнуть на такие памятники рукой, выбросить их за ненадобностью как балласт за борт научного исследования, или... изучать их в себе, т. е. вещеведчески. В этом нет ничего удивительного: такова обычная практика левых загибов, приводящих на деле к реакционным выводам.

Каков в общих чертах путь восстановления и изучения истории конкретных обществ, от которых мы имеем главным образов вещественные памятники (именно о таких обществах у меня шла речь на страницах о комплексном методе)? Прежде всего необходимо отыскать возможно большее количество памятников (жилища, поселения, крепости, могилы с их инвентарем и г. д.), относящихся к данному, изучаемому нами обществу, хотя бы и к различным его этапам. Необходимо собрать при помощи точной методики массовый материал с возможно более широкой территории, так как отдельные памятники сами по себе не могут служить надежной опорой для синтеза. Далее, изучаемые памятники одного общества следует расчленить хронологически на сосуществовавшие комплексы, так как нет ничего вреднее смешения остатков разных этапов и эпох в общую кашу. Марксистско-ленинское требование конкретности всякого исторического исследования обязывает нас каждую эпоху и каждое общество изучать в их специфических признаках, а для выполнения этого требования нужно уметь отделять различные эпохи друг от друга, уметь хронологизировать источники. Выделенный путем хронологизации относящийся к одной эпохе материал (комплекс) далее расшифровывается как источник, вскрывающий нам структуру данного общества данной эпохи. Восстанавливаются существовавшие производства, выясняются производственные отношения, идеологические надстройки, устанавливается принадлежность данного общества к определенному этапу определенной формации и т. д. Указанные моменты исследования отнюдь не следуют друг за другом по порядку, а переплетаются, и уже с самого начала при собирании и хронологизации материалов исследователь должен отчетливо представлять цель своих работ, должен помнить, что он изучает не вещи, вообще не источники сами по себе, а скрытое за этими источниками общественное развитие, структуру и развитие данного общества. В процессе этой работы, производимой разнообразными и сложными приемами, вытекающими из требований метода диалектического материализма, к основному вещественному материалу привлекается все, что можно использовать как источник: данные письменных памятников, этнографии, лингвистики и пр. Таким же путем изучаются материалы других эпох, и в конечном результате получается целостная картина исторического развития данного общества, выясняются закономерности этого развития. Следовательно, «в конечном счете», как я писал в своей книжке, являющейся предметом критики И. И. Смирнова (стр. 21), «изучается не вещь, не стиль, не форма предмета, а общественная формация

в ее особенном существовании, с которой данный вещекомплекс связан».

Но что значит «формация в ее особенном существовании»? Это значит конкретное, существовавшее в определенных условиях места и времени общество, которое и должно являться ближайшим объектом изучения, или, как я говорил, единицей исследования, непосредственно производимого на основе всей суммы источников, на основе комплекса источников. Исследователь-историк всегда имеет дело непосредственно с источниками, с помощью которых он восстанавливает и изучает конкретное общество.

И. И Смирнов решительно с этим не согласен. Для него «единицей исторического исследования в марксизме является не конкретное общество, а прямо и непосредственно общественно-экономическая формация не в ее особенной, а в абстрактной, чистой форме. Но откуда, спрашивается, можно узнать, к какой формации или к какому этапу формации относится изучаемое общество, если мы еще вообще ничего об этом обществе не знаем, если мы не собрали источников, не восстановили по источникам хотя бы некоторых черт данной общественной структуры и т. д. Историческая конкретность, с изучения которой начинается исследование, должна быть, конечно, понята в итоге синтеза, неотделимого от анализа, как формация или ее этап, — это цель исследования, но не отправной его момент. По И. И. Смирнову выходит, что историк-марксист должен изучать как единицу исследования без источников, без конкретных обществ прямо социально-экономическую формацию. Именно поэтому он ставит вопрос «о соотношении категорий культурного комплекса» и общественно-экономической формации. Для него существует или формация, или культурный комплекс (в смысле комплекса источников), и выбор он делает в пользу формации, утверждая, что понятие комплекса противоречит понятию формации. Между тем комплекс, повторяю, есть сумма источников, по которым изучается «особенное существование формации», т. е. данное конкретное общество, и никакого противоречия между тем и другим, никакой альтернативы здесь не существует. Альтернатива существует лишь для левацких загибщиков, считающих возможным изучать социально-экономическую формацию при этом всю и сразу непосредственно без источников, без исторически конкретных обществ.

Выкинув таким образом флаг борьбы против конкретности исторического исследования, И. И. Смирнов, как видно, думает, что в науке все можно сделать одной фразой, без изучения реальных фактов. Свою точку зрения он проводит последовательно и в крайне воинствующей форме. Он протестует, например, против хронологического выделения комплексов вещественных источников отдельных эпох, полагая, значит, что или такие источники нужно изучать все и сразу без систематизации по эпохам, или же они вовсе не нуждаются в изучении.

Он цитирует следующее место из моей книжки:

«Полученный таким образом (т. е. собранный с наибольшей полнотой) материал надлежит расчленить на хронологически сосуществовавшие комплексы материальной культуры. При этом нет необходимости опираться лишь на типологический метод. Лучшие результаты дает, кроме того, выяснение условий находок, например стратиграфия, изучение временных чередований устойчивых групп предметов в обширных массовых памятниках, могильниках, поселениях и пр.».

Как ясно каждому, здесь речь идет не о методологии, а о методике хронологизации вещественных остатков, находимых в земле, и термин «метод» употреблен в значении «прием». Указывая на существующие приемы датировок: «стратиграфия... чередование устойчивых групп предметов в массовых памятниках...», я допускаю в известных случаях и типологические приемы хронологизации, которые вовсе не следует отожествлять с формально-типологической методологией. Форма предмета, его тип, его устройство в ряде случаев могут дать основания для хронологических заключений, как, скажем, форма и устройство автомобиля позволяют заключить о времени его изготовления. Только это имел я в виду, говоря о типологическом методе в связи с выделением хронологически сосуществовавших комплексов.

Между тем И. И. Смирнов дает следующий выразительный комментарий к процитированному им данному месту моей работы: «Итак, для выделения культурных комплексов В. И. Равдоникас использует исключительно методы старой буржуазной археологии. Вся «разница» состоит в том, что В. И. Равдоникас не считает целесообразным («нет необходимости») пользоваться лишь типологическим методом, дополняя его другими формальными методами буржуазной археологии (культурно-стратиграфический метод и др.)»... «Но какой комплекс можно получить, например, при применении типологического метода? Ответ ясен: типологическую серию. Применение других методов, например, упоминаемого В. И. Равдоникасом культурно-стратиграфического метода, в лучшем случае может дать стратиграфически однородный материал. Но разве не может стратиграфический «комплекс» содержать в себе явления, относящиеся к различным общественно-экономическим формациям? Нам нет необходимости обосновывать утвердительный ответ. Или, может быть, В. И. Равдоникас стоит на той точке зрения, что применение нескольких идеалистических методов взаимно погашает ошибки, полученные при использовании каждого из них».

Итак, все существующие приемы датировок, даже простые наблюдения стратиграфии И. И. Смирнов объявляет идеалистическими и налагает на них поэтому абсолютное табу. Он ничего не предлагает взамен, он легко и просто ставит крест на способах выделения хронологически однородных вещественных остатков и тем самым практически пытается устранить всякую возможность конкретного изучения истории общества по эпохам. Надо ли говорить, что прием хронологизации по типам, т. е. по форме и устройству предметов, вовсе не требует, как думает И. И. Смирнов, построения классических формально-типологических серий и что «стратиграфически однородный материал» хотя в некоторых гипотетических случаях и может «содержать в себе явления, относящиеся к разным общественно-экономическим формациям», но он всегда представляет вовсе не «механический аггрегат», а реально данную историческую конкретность, выделить которую совершенно необходимо, и дальнейшее изучение покажет, что представляет собой эта конкретность. Если в одном и том же слое мы последовательно имеем остатки двух различных формаций, — ну, тогда, значит, изучаемая эпоха представляет переход от одной формации к другой; в таком аспекте и надлежит ее рассматривать. Если остатки разных формаций встречны в однородных комплексах, залегающих на изучаемой территории горизонтально, — мы имеем дело или с сочетанием укладов единого общества, или же с соседством двух различных обществ. Распутать такие вопросы мы можем только в ходе конкретного исследования, опирающегося на факты, против которого воюет И. И. Смирнов.

Отвергнув разделение вещественных остатков по эпохам, И. И. Смирнов столь же беспощадно расправляется с приемами использования этих остатков как источников для изучения общественной жизни и с ядовитой иронией цитирует следующую мою характеристику задач изучения комплексов вещественных памятников: «Восстанавливаются все виды существовавших на фоне географической среды производств, выясняются мельчайшие подробности быта, расшиф-

ровываются все наличные указания на идеологические представления, реконструируются «отношения по производству» и т. д., пока материально-культурный комплекс не будет понят как именно живая часть живого общественного целого. В этой сложной работе нужно пользоваться разнообразными приемами: и сравнительным методом, и палеонтологией речи и быта, и имманентным истолкованием культурных остатков».

Здесь, как и в высказываниях по поводу хронологизации, я употребляю слово *метод* в значении *прием* («нужно пользоваться разнообразными *приемами:* и сравнительным *методом,* и полеонтологией речи...» и т. д.), подчеркивая многообразие приемов использования источников и перечисляя только некоторые из этих приемов. Все такие приемы И. И. Смирнов огульно квалифицирует как «нечто сходное» с «комбинацией формальных, идеалистических методов буржуазной археологии» и на этом основании обвиняет меня в защите методов буржуазной социологии, субъективизме, идеализме и т. д.

Когда я говорил о сравнительном методе как о приеме, я ни в малейшей, конечно, степени не имел в виду формальное сравнение, выяснение заимствований, влияний и т. п., что бесцеремонно навязывает мне И. И. Смирнов. Возможность такого понимания исключается всем содержанием моей книжки. Достаточно сослаться на целый раздел ее, специально посвященный критике формально-сравнительного метода буржуазной археологии (стр. 68—75), и на множество аналогичных высказываний в других местах моей книжки. И. И. Смирнов это знает, — должен же ведь критик читать то, что он критикует, — и, прикрываясь борьбой с буржуазной методологией, на деле с размаху бьет против самой возможности какого бы то ни было сравнения изучаемых явлений, сравнения, абсолютно необходимого для понимания этих явлений. Ведь не кто иной, как Ленин, указывал на «сравнение конкретных эволюций между собой» как на путь изучения общественно-экономических формаций. Ведь и Маркс, и Энгельс постоянно сравнивали изучаемые ими факты. И. И. Смирнов последователен прямолинейно. Отвергнув необходимость изучения конкретных обществ под предлогом большей важности изучения формаций, он, естественно, отвергает и сравнение конкретных обществ или их элементов. Между тем и сопоставление вещественных остатков с этнографическими комплексами, и установление общих закономерностей в различных конкретных образованиях, и даже простое понимание находимых в земле комплексов (например, жилище, устройство могилы и т. д.) неизбежно требует сравнения, как одного из важнейших приемов исследования. Конечно, не формального сравнения с целью установления влияний и заимствований, но ведь о допустимости такого сравнения нет ни слова в моей книжке. Имманентное истолкование культурных остатков для И. И. Смирнова также есть «формальный метод, изучение вещи как таковой». Из чего это следует? Когда, допустим, мы из земли выкапываем фрагменты ткани и по ним восстанавливаем целый костюм, когда по характеру ткани заключаем о технике текстильного производства, о наличии разведения волокнистых растений и т. д., — это будет имманентное истолкование культурных остатков без всяких признаков вещеведения. Когда в раскапываемых жилищах систематически повторяется одно и то же устройство, например, размеры, расположение очага, культовых изображений, особенности устройства стен, признаки содержания скота в жилище, например, остатки навоза, мы имманентно заключаем о типе жилища, свойственного данной эпохе и данному обществу. Это будет имманентное истолкование и опять-таки без признаков вещеведения, так как, с помощью, конечно, и других приемов (в практике исследования все приемы переплетаются), мы использовываем установленный нами тип жилища как один из показателей социальной структуры, выясняем, например, наличие в данном обществе большой или малой семьи, особенности техники различных видов производств и т. д. Но, впрочем, зачем И. И. Смирнову истолковывать культурные остатки, коль скоро он считает возможным изучать общественно-экономическую формацию прямо, без каких бы то ни было посредствующих данных? Долой и истолкование культурных остатков!

Столь же сурово наш воинствующий критик расправляется с привлечением надстроечных явлений к изучению базиса, с палеонтологией речи и быта, поставленной на службу изучению материального производства и т. д., и г. п. Так как соответствующие рассуждения И. И. Смирнова аналогичны вышеизложенным, останавливаться на них нет смысла. Везде в них одно и то же: везде левый загиб, левая фраза и весьма сомнительные выводы. Скажу несколько слов только еще о моем «марксизме». И. И. Смирнов пишет: «Объявляя палеонтологию речи и быта особым «методом», В. И. Равдоникс оказывается на позициях правой части яфетидологов, которые пытались и пытаются противопоставить яфетидологическую теорию («марризм») марксизму, конструируя особый «яфетидологический метод», называя его дополнением к марксизму и т. д.». Выше я показал, что палеонтология речи и быта методом мною нигде не объявлялась; я подчеркивал весьма важное значение палеонтологии речи и быта только как приема в изучении общественных отношений прошлого («нужно пользоваться различными *приемами:* и сравнительным методом, и палеонтологией речи и быта» и т. д.). И. И. Смирнов, следовательно, возражает против допустимости для марксиста-историка пользоваться палеонтологией речи вообще, коль скоро он не согласен со всем моим контекстом. И это органически связано с его отрицанием допустимости использования надстроек при изучении базиса.

Прежде всего спрошу у И. И. Смирнова: почему палеонтология речи и быта есть «марризм», который непременно нужно противопоставлять марксизму? Огромная заслуга Н. Я. Марра заключается в том, что он в итоге своих работ, в ряде основных положений дал конкретизацию метода диалектического материализма, последовательно применяя его к обширной и важной области лингвистических явлений. Целый ряд лингвистических открытий Н. Я. Марра дает нам возможность по-новому, но, конечно, в развитие тех же принципов диалектического материализма, подойти к пониманию темных вопросов общественной жизни прошлого. В основных положениях учения Н. Я. Марра на данном этапе развития этого учения мы имеем, таким образом, конкретизацию марксизма, и только поэтому, только в этой мере принимаем мы данное учение (отнюдь не одну палеонтологию речи) и пользуемся его положениями в своей исследовательской работе. В частности палеонтология речи как прием с большим успехом применялась ведь еще Энгельсом и как раз к изучению общественных отношений. По пережиточным терминам родства Энгельс на основании данных Моргана палеонтологически восстанавливал формы семьи в отдаленном прошлом. Н. Я. Марр уточнил этот способ исследования и обогатил его новым возможностями. По терминам, например, обозначающим животных, с помощью палеонтологического анализа этих терминов Н. Я. Марр установил порядок чередования видов животных в процессе их приручения и тем самым пролил свет на явления базиса; то же самое он сделал в отношении средств передвижения, орудий труда и т. д. Тут нет никакого «марризма», но есть прямое продолжение научных традиций, завещанных Марксом и Энгельсом. Нападая на палеонтологию речи и

быта как на «марризм», отрицая увязку языка и материальной культуры, И. И. Смирнов делает выпад против марксизма и скатывается в объятия реакционной буржуазии. Такова, впрочем, судьба всех «критиков», воевавших безоговорочно с яфетидологией и отвергавших ее начисто.

И. И. Смирнов подвергает всяческому осмеиванию следующий мой контекст, цитируя его, думаю — не случайно, не полностью: «Такие периоды (т. е. периоды смены качественно различных комплексов культурных явлений) оставались ранее не понятыми; их чаще всего объясняли при помощи теории вытеснения одной народности другой, теории, связанной с теорией миграций. Учение о стадиальности, развиваемое яфетидологией, *поможет* правильнее осветить явления этого рода; по существу же в них нужно искать, конечно, смену социально-экономических формаций» — нужно добавить: «или их этапов».

Разве, говоря здесь о том, что марровское учение о стадиальности *поможет* нам разобраться в скачкообразных изменениях культурных явлений, я утверждаю, как навязывает мне И. И. Смирнов, что «единственным средством для понимания законов смены общественно-экономических формаций является... учение о стадиальности в языке»? Уже само выражение: «по существу же в них нужно искать смену социально-экономических формаций», показывает, что я имею в виду как основу всего исследования марксистско-ленинское учение о формациях. Если я подчеркнул учение о стадиальности, которое нам *поможет*, так только потому, что оно нам действительно помогло расправиться с теорией миграций и заимствований, равно как и с расовой теорией, которыми буржуазная археология объясняла качественную смену культурных комплексов. Недаром ведь я в своем контексте упомянул об этих теориях — и это выбросил из своей цитаты И. И. Смирнов. Именно из недр яфетидологии—сошлюсь хотя бы на статью И. И. Мещанинова «О доисторическом переселении народов» в «Вестнике Комакадемии (т. 23)—вышла впервые данная убедительная критика теории миграции, критика, как все устоявшиеся положения яфетидологии, вытекающая из марксистско-ленинской диалектики.

Но что за дело до всего этого И. И. Смирнову! Для него важно одно: занять возможно более левые позиции, выкрикнуть наиболее звонко левую фразу. Его лозунги выразительны и ярки. Долой изучение конкретных обществ по источникам, — будем изучать как «единицу исторического исследования» социально-экономическую формацию в ее чистом ипостазированном виде! Долой все приемы хронологизации материала по эпохам, долой самую хронологизацию! Долой сравнение культурных остатков, долой их имманентное изучение, долой палеонтологию речи и быта, использование надстроек при изучении базиса— увязку языка и материальной культуры, долой, наконец, самую историю материальной культуры как науку! Долой, долой и долой! Ну, а что же И. И. Смирнов предлагает нам взамен так легко низвергнутых им, столь, по его мнению, вредных установок? Пока ничего, кроме ссылок на общие положения марксизма-ленинизма.

Нужно ссылаться на общие положения марксизма-ленинизма, нужно решительно бороться со всем, что противоречит этим положениям, но ведь нужно их и конкретизировать, нужно итти вперед, развивая метод диалектического материализма и углубляясь в изучение конкретного мира явлений. Нужно вооружиться частной методологией и методикой, чтобы успешно двигать вперед марксистско-ленинскую науку во всех областях знания. Объективно левачество И. И. Смирнова есть попытка, наоборот, разоружить нашу науку, вырвать из рук исследователя такие приемы, без которых разобраться в изучаемом сложном сплетении реальных фактов невозможно. Борьбу с буржуазным вещеведением И. И. Смирнов, как и полагается левым уклонистам, довел до степени борьбы за вещеневедение, т. е. до абсурда. Охотно принимая положительные стороны его критики моей работы, решительно отвергаю все его левацкие загибы.

В заключение несколько слов по поводу печатаемой в этом номере «Сообщений» статьи А. В. Арциховского, С. В. Киселева и А. П. Смирнова, поскольку в ней есть также критические замечания по моему адресу. При чтении этой статьи создается несколько странное впечатление, точно я критиковал наиболее старые работы указанных товарищей, относящиеся ко времени до 7 лет назад. Должен заявить, что мне неизвестна ни одна работа этих товарищей, вышедшая из печати ранее 1927 г., за исключением небольшой статьи А. В. Арциховского о бипирамидальных бусах у славян, вышедшей в 1926 г., которой я нигде и ни разу не касался в печати. В своих критических статьях я основывался главным образом на работах указанной группы археологов, вышедших в 1928—1930 г., и работы 1927 г. привлекал только в той мере, в какой изложенные в них взгляды были сохранены их авторами до последнего момента, хотя бы в экспозиции Исторического музея.

С указаниями на недостаточность моей критики работ археологов из Ранион'а согласен, но только не в том смысле, как сказано в статье А. В. Арциховского и др. Авторы этой статьи заявляют, что я будто бы ни слова не сказал об их склонности к эволюционизму, к замазываиию диалектических скачков, не упомянул об их богдановщине и пр. Разумеется, анализировать все без исключения конкретные ошибки москвичей не входило в мои намерения. Мне важно было вскрыть магистральные линии этих ошибок и показать их теоретические корни. Сделал это я как будто с достаточной полнотой. Эволюционизм и выхолащивание диалектики у А. В. Арциховского и др. указаны мною хотя бы в контексте на стр. 10 № 9/10 «Сообщений ГАИМК» за 1931 г. («диалектическую концепцию развития А. В. Арциховский смешал с эволюционистским пониманием развития...» и т. д.) и в других местах, богдановщина — в общей характеристике механистического выведения социальной структуры из техники. На теории «организаторов» я действительно не остановился, но она является дериватом механицизма, основные черты которого в системе взглядов А. В. Арциховского и др. освещены мною как будто бы достаточно ярко. Но моя критика действительно недостаточна, — свидетельством является непризнание группой А. В. Арциховского некоторых из указанных мною их ошибок. Должно быть, я не все из разобранных мною ошибочных взглядов достаточно подробно и убедительно разъяснил. Иначе никак нельзя понять, почему, например, А. В. Арциховский и др. считают, что я «припаял» им теорию миграций, которую будто бы защищал один А. Я. Брюсов, а остальные ею не пользовались. Неверно. Сошлюсь хотя бы на «Курганы вятичей» А. В. Арциховского (1930 г.). В этой книжке уже в предисловии (стр. 7) значится: «Исследователи конца XIX в. наметили в общих чертах «расселение древнерусских племен по археологическим данным». Теперь настало время для монографий, посвященных отдельным племенам. Темой моей работы будет одно из этих племен — вятичи».

Здесь А. В. Арциховский довольно ясно солидаризируется с теорией расселения славян из одного центра — с Карпат, которую клали в основу своих работ «исследователи конца XIX в.». Но что такое теория расселения из одного центра, как не теория миграций из прародины?

Кончаю тем, с чего начал. Осознание ошибок есть вместе с тем освобождение от них, есть верный признак вступления на новый этап.

Г. В. Белов

Раскопки Херсонеса в 1931 г.

Раскопки Херсонеса в 1931 году производились под моим руководством на северном берегу, против базилики с мозаичным полом. Целью раскопок было исследование прибрежной части городища, размываемой морем. Раскопана полоса земли вдоль моря дл. 50 м, шир. ок. 15 м при средней глубине ок. 2,5 м.

В первом слое открыт квартал зданий, относящихся к IX веку. Здания небольшие, правильного плана и сложены из мелких бутовых камней на грязи. Некоторые из зданий были жилыми, имели печи или очаги, другие служили кладовыми. На полу помещений найдено большое количество разбитых пифосов с обугливщимся зерном пшеницы и остатки рыбы, много рыболовных принадлежностей: крючки, грузила, вязальные иглы, остроги, а также орудия — мотыги, цапки, пряслица и др. В нескольких помещениях было найдено много обломков поливной посуды, и из них склеено до 35 мисок и чашек. Из мисок следует отметить миску с изображением Георгия на коне и дракона. Здания погибли в пожаре: на полу везде был толстый слой пожарища, масса битой черепицы (многие с клеймами) и железных гвоздей. Повидимому, эта часть города в XI веке была бедной окраиной, населенной рыбаками и ремесленниками.

Второй слой характеризуется поливной посудой с рельефными изображениями и большим количеством монет IX — X вв., найденных в засыпанных в эту эпоху мусором цистернах. На полу одного из немногих помещений этого времени найдена золотая пластинка с эмалью, изображающая двух птиц, тонкой работы.

Эллинистической римской эпохе принадлежат несколько больших и две очень маленьких (1 × 0,75 × 0,70 м) цистерны, хорошо оштукатуренных и вымощенных кирпичом или черепицей. В римском слое найдена бронзовая статуэтка Асклепия, по типу аналогичная изображениям Асклепия на херсонесских монетах половины III в. н. эры. Последний слой, состоящий из щебня, относится к эллинистической эпохе III — II в. до н. эры. В нем найдены амфорные ручки с клеймами и обломками посуды, покрытой плохим черным лаком. Заслуживает внимания дно тарелки с барельфными изображениями мужского и женского бюстов, хорошей работы. Вероятно, это дно, как и аналогичное ему другое дно с изображением двух целующихся головок из раскопок 1909 г., происходит из местной мастерской III — II века до н. э. В общем раскопки дали показательные результаты для характеристики хозяйства Херсонеса в различные его периоды, для истории первоначального роста и последующего уменьшения территории города; они позволяют датировать различные по технике виды мало изученной посуды и т. д.

А. А. Аджан, Л. Т. Гюзальян и Б. Б. Пиотровский

Циклопические крепости Закавказья

(Отчет о командировке в Армению летом 1930 г.)

О Закавказье времен X — VI вв. до н. э. мы можем судить по трем основным категориям памятников: халдским клинообразным надписям, находимым в Армении, древним могильникам и остаткам поселений-крепостей. В исследовательской работе не всем этим памятникам повезло в одинаковой степени. Если клинообразные надписи давно уже привлекли внимание исследователей неоднократно издавались, а отчеты о раскопках могильников встречаются в научной литературе и их материал вошел в широкий научный обиход, то по третьей категории памятников, поселениям-крепостям, мы располагаем лишь несколькими общими описаниями, имеющими главным образом только регистрационное значение. Несмотря на то, что каждая из категорий этих памятников в отдельности датировалась первой половиной I тысячелетия до н. э., до сих пор не производилось их последовательного комплексного изучения. Между тем правильное понимание общества в целом и слагающих его элементов в отдельности может быть достигнуто только критической проработкой всех видов памятников, сохранившихся от данного общества, отражающих с той или иной полнотой, с той или иной достоверностью различные стороны его жизни. С этой точки зрения особое значение приобретают крепости и связанные с ними поселения, сохраняющие следы общественной деятельности человека, в особенности в области его материального производства, в наиболее целостной форме, в тех соотношениях и последовательности, в которых реально существовало и изменялось общество, тогда как могильники и письменные источники передают материал в искаженном виде.

Затруднения, вызываемые разобщенным изучением памятников, выявились с особой остротой при разработке коллективной темы по Закавказью времени Ванского царства, проводившейся в 1930 г. сотрудниками бывших трех разрядов Гос. академии истории материальной культуры: разряда языка, древних культур Кавказа и средневековых культур Кавказа и Ирана. В процессе работы выяснилась необходимость более детального обследования циклопических крепостей с целью разрешения проблемы их увязки с другими категориями памятников древнего Закавказья X — VI вв. до н. э. и тем самым более полного изучения этой эпохи путем охвата всего комплекса относящихся к ней источников. Для выяснения этого вопроса летом 1930 г. в Армению были командированы с целью производства предварительных разведок сотрудники академии А. А. Аджан, Л. Т. Гюзальян и Б. Б. Пиотровский. В Эривани к этой группе Комитетом охраны древностей Армении был прикомандирован Е. А. Байбуртян, принявший участие во всех работах группы.

Для работы был избран район, в котором на небольшой сравнительно территории было отмечено 10 циклопических крепостей, несколько частично раскопанных могильников и две клинообразные надписи. Такое сочетание различных памятников в одном районе облегчало разрешение поставленной задачи.

Работа производилась на северном и северо-западном склоне Арагаца (Алагеза) по маршруту: Артик — Хаджи-Халил — Кирх-Дагирман — Еганляр — Гулиджан — Хором — Адиаман — Согютлу — Верхний Талин — Нижний Талин — Карабурун. Весь этот путь был пройден пешком с 1 по 23 августа. Де-

Хаджи-Халил. Крепостной холм

тальнее других были обследованы крепости в Хаджи-Халиле, Кирх-Дагирмане и Хороме, представлявшиеся наиболее характерными.

Группой были произведены обмеры и съемки планов крепостей с окружающим их поселением, сделаны их описание и сбор подъемного материала. В фототеку академии было передано 200 фотографических снимков.

В процессе работ возникла новая проблема, именно выяснение способа расселения, характеризуемого обследованными крепостями, и его видоизменения, отражающегося в изменении и в развитии самих крепостей.

В виду того, что эти крепости, имея ряд сходных признаков, не являются тем не менее однородными, и каждая из них имеет свои особенности, стало необходимым выделение главных определяющих признаков, на основании которых можно было бы обобщить эти крепости и свести их к однородным группам и тем самым подготовить разрешение поставленной выше проблемы, окончательное разрешение которой может быть достигнуто лишь при привлечении всех остальных источников.

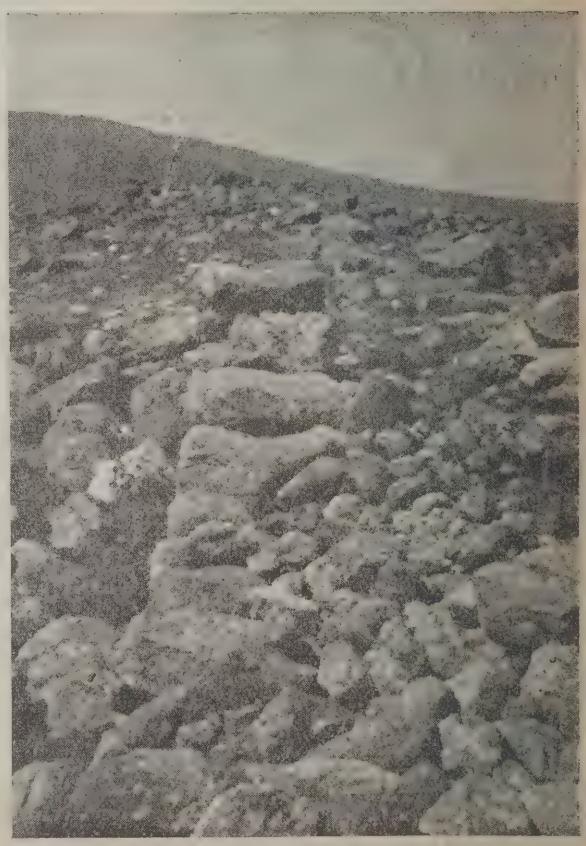
Определяющими, с этой точки зрения, признаками наметились: 1) выбор места для крепости, 2) системы расположения поселения у крепости, 3) способ использования и обработки строительного материала, 4) способ возведения и система крепостных стен, 5) характер подъемного материала, главным образом фрагментов керамики. С точки зрения этих признаков и была произведена примерная группировка обследованных крепостей, в результате чего намечаются три группы, различающиеся друг от друга по перечисленным выше признакам. Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных групп крепостей данного района, необходимо отметить свойственные всем им общие черты, выражающиеся в сходности их местоположения и в однородности строительного материала.

Выбор места и однородность строительного материала определялись условием и характером местности, значение которых было тем больше, чем ниже был уровень техники. Местность, в которой расположены крепости, представляет собою склоны и подошву горы Арагаца (Алагеза), вследствие горообразовательных процессов и вулканической деятельности сильно пересеченную лощинами и холмами. Для возведения крепостей выбирались холмы, господствующие над местностью, с крутыми, трудно доступными склонами. Поверхность холмов, особенно их вершины и северные склоны, образует естественные выходы твердых пород вулканического происхождения, главным образом базальта разной структуры и трахита. При сравнительно низком уровне техники, отраженном этими крепостями, использованию этих каменных пород способствовало их свойство раскалываться под влиянием атмосферных процессов на глыбы разной величины и формы. Широкая поверхность откола позволяла без обработки или с незначительной обработкой употреблять эти камни для возведения устойчивых стен, что и практиковалось при постройке наиболее древних крепостей.

Повидимому, наиболее древними крепостями являются крепости в Хаджи-Халиле, Хороме I, Адиамане I и Согютлу.

При возведении этих крепостей и окружающих их поселений выбирался холм, господствующий над местностью и наименее доступный; таким образом, в отношении выбора места мы имеем здесь максимальное использование естественных условий местности. Поселение, представляющее собою остатки каменных фундаментов жилищ, имеющих в плане обычно круглую или овальную форму, непосредственно прилегало к крепости. Стремление быть по возможности ближе к укреплению привело к тому, что поселение концентрировалось вокруг крепостного холма и частично даже занимало его склоны. Крутость холма затрудняла использование его склонов для поселения, поэтому для возведения построек на склоне холма была необходима предварительная подготовка места.

Строения располагались на площадках в виде террас, находящихся на разной высоте от подошвы холма. Такие террасы требовали искусственных сооружений, которые в крепостях этого типа выступают в виде системы крепид, защищавших склоны холма от оползней. Эти крепиды были приняты Тораманяном за



Кирх-Дагирман. Кладка южной стены (вид сверху)

сохранившиеся участки стен, чему противоречит то обстоятельство, что эти крепиды не образуют непрерывной линии и находятся на различной высоте, причем часто боковая стенка ниже расположенной площадки приходится на половину выше расположенной. Такие крепиды, возведенные с целью предотвращения оползней и максимального использования склона холма, были встречены и в современных армянских постройках.

В этих крепостях мы наблюдаем лишь одну крепостную стену, отличающуюся от кладки крепид и ограждающую лишь верхнюю площадку крепостного холма. Исходя из грубости обработки камней крепид, Тораманян пришел к выводу, что эти крепости относятся к каменному веку и воздвигнуты без применения металлических орудий. При детальном осмотре этих крепид можно заметить, что они не представляют случайно нагроможденных друг на друга глыб, а кладку из целесообразно, с учетом их естественных форм использованных камней — с таким расчетом, чтобы внешняя сторона их представляла ровную поверхность. Кладка основной стены более совершенна и состоит из двух рядов камней, промежуток между которыми засыпан обломками той же каменной породы. Площадь, включенная в крепостную стену, в плане зависящая от поверхности холма, не превышает в среднем 150 × 70 м. Внутри крепостной ограды заметны остатки построек, частично примыкавших к стене. Эти крепости обычно имеют один въезд, к которому по склону холма ведет дорога, снабженная крепидами, над которыми в некоторых местах сохранились остатки стен. Расчистки обнажений в Хаджи-Халиле и Хороме I не дали определенной картины культурных наслоений, в обоих случаях под слоем гумуса, толщиною около 0,5 м залегает однородный культурный слой с фрагментами керамики древнего типа, встречающимися и на поверхности.

Не имея права произвести хотя бы пробную раскопку, пришлось ограничиться подъемным материалом, материалом не особенно надежным, но все же имеющим значение как для определения технического уровня отражаемых этими материалами производств, так и для самого памятника в целом и для установления его связи с памятниками другой категории.

Подъемный материал из крепостей первой группы увязывается с материалом из могильников, датированных I тысячелетием до н. э., и свидетельствует тем самым о том, что крепости I группы, по крайней мере в некоторой своей части, относятся к этому же времени, т. е. ко времени Ванского царства.

Крепости второй группы отличаются от крепостей первой своими размерами и включают поселение в пределах своих стен, если не полностью, то в большей его части. Выбор места для этих крепостей также отличается от выбора места для крепостей I группы. В данном случае это возвышенность с широкой верхней площадкой, одна сторона которой иногда не представляет крутого склона, а спускается ровным скатом к ложбине, использованной для водоснабжения крепости. Следы канала с остатками каменной плотины заметны в Кирх-Дагирмане.

Наиболее характерным образцом второй группы служит крепость в Хороме, три ряда стен которой ограждают большую площадь, представляющую собой как отдельные холмы, так и лощины.

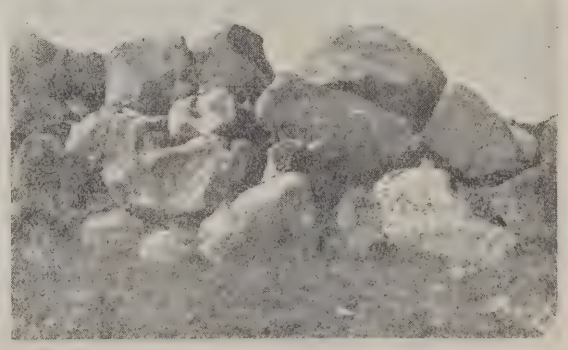
Материалом для сооружения крепостей второй группы служила та же каменная порода, что и для крепостей первой группы, но использованная с большим применением техники. Появляется теска камней, придававшая им ровные поверхности. Стены достигают иногда 4 м толщины и в отличие от крепостей первой группы снабжаются контрфорсами, служившими одновременно и опорой стене и средством большей укрепленности. При меньшей крутизне крепостных холмов уменьшается потребность в возведении крепид, защищавших холм от оползней, в фортификационном же отношении они уступают свою роль массивно возведенным стенам. Керамика из крепостей второй группы отличается от керамики первой и не имеет себе аналогий в известном материале.

К третьей группе относятся крепости, расположенные в районе селения Мастара, одна на возвышенности непосредственно над селением, другая между селениями Мастара и Гезлу. Первая из них, по всем данным, представляет феодальный замок, окруженный тщательно сложенной стенкой с контрфорсами из более мелкого и лучше обработанного камня, чем в крепостях второй группы. На склоне холма имеются каменные ящики с костяками в вытянутом положении, без всякого инвентаря — тип погребений, бытовавший, по свидетельству местных жителей, до недавнего времени среди турецкого населения этого района. Собранный на территории этих крепостей керамический материал частично орнаментирован штампом. Кроме того, нахождение в обеих крепостях камней древнего типа также указывает, повидимому, на датировку их временем раннего средневековья.

Отмеченные различия двух первых групп крепостей могли быть следствием двух причин: разнородность этих крепостей можно было бы объяснить или их хронологической разновременностью, одновременно представляющей стадиальное различие, или хронологической одновременностью при различии в социальном отношении, т. е. предположить, что первая группа крепостей-поселений является типом сельских поселений, а вторая группа — типом городских поселений.

Последнее предположение отпадает, так как на той стадии развития, которую характеризуют эти крепости, не могло быть такого резкого отличия города от деревни, да и подъемный материал выявляет нам различия, которые нельзя объяснить социальной разницей. Очевидно, единственным видом поселения в эту эпоху было поселение около крепости. Этому, казалось бы, противоречат халдские клинообразные надписи, в которых обычно фигурирует термин «город». Но необходимо указать, что при самодовлеющей трактовке надписей неизбежно появляются неточности в переводе социальных и экономических терминов. При анализе халдского словаря мы сталкиваемся с неясностью идеограммы «город». Эта идеограмма раскрывается двояко: как mani и как patari. И. И. Мещанинов и Р. М. Шауман показали, что термин patari, идеографически совпадающий с mani, — «цитадель», «крепость».

Таким образом, на основании как обследованных крепостей-поселений, так и сопоставления связанных с ними клинообразных текстов и могильников уста-



Хором. Кладка из больших каменных глыб

Хором. Крепость II. Кладка стены

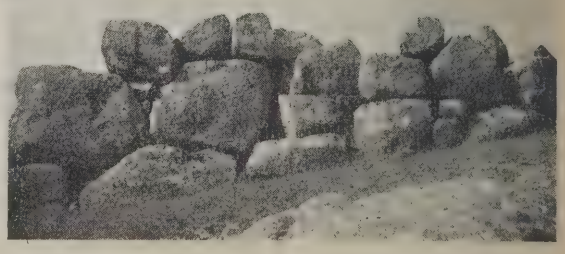
навливается, что к эпохе Ванского царства относятся крепости первой группы. Все эти памятники в совокупности приводят к выводу, что в эту эпоху данная группа крепостей-поселений была основной и единственной формой поселения, иначе говоря, в это время еще не произошло отделения города от деревни.

Однако было бы ошибочным, исходя из этого факта, относить обследованные крепости к доклассовому состоянию общества, одной из характерных особенностей которого является именно факт отсутствия дифференциации между городом и деревней.[1] Такому заключению противоречили бы как структура самих крепостей, так и весь относящийся к ним материал, говорящие о классовой дифференциации общества. Некрополи, сохранившие клавшиеся в могилу предметы личного имущества погребенного, количеством и качеством этого материала дают представление об имущественном неравенстве. Клинообразные тексты не только подтверждают этот факт, но даже конкретизируют господствующий класс, обозначая его термином «князь». Понятно, что перевод этого термина условен и тем самым не вполне правилен.

Да и сами крепости отмечают эту дифференцированность, поскольку из поселения уже выделилась цитадель, являвшаяся местопребыванием господствующего класса, но еще находившаяся в непосредственном окружении поселения, состоявшего из отдельных жилищ или их системы, ясно говорящих о семье как основной ячейке поселения. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно в том отношении, что, не будь его, из факта выделения цитадели легко можно было бы прийти к заключению, что эта цитадель представляет собою замок, характеризующий феодальную систему соотношения цитадели с поселением, т. е. феодальный способ расселения. Между тем факт органической связи цитадели с поселением указывает на то, что в период, характеризуемый этими крепостями-поселениями, происходивший процесс классовой дифференциации и сложения феодальных отношений еще не вполне закончился. Сама система хозяйства времени обследованных крепостей не могла еще дать достаточные и необходимые условия для оформления феодальных отношений, но представляла необходимые реальные предпосылки для этого. В системе хозяйства этого района основным занятием населения было скотоводство с частной собственностью на скот, в отличие от низменных районов, где в качестве основного занятия выступает земледелие, сочетавшееся также со скотоводством. На большое значение скотоводства как для самого Ванского царства, так и для Закавказья этой эпохи указывают клинообразные тексты, отмечающие громадное количество захваченного с Закавказья скота, который являлся одним из основных стимулов походов ванских царей. Как известно, частная собственность на скот, являвшийся одним из важных средств накопления богатств в руках частных лиц, была в определенных условиях одним из решающих факторов перехода общества от доклассового состояния к классовому. При этом накопление богатств в виде скота происходило не только путем его естественного размножения, но и посредством прямого грабежа, от которого обогащались и усиливались прежде всего военачальники. Грабеж в этот период имел исключительное значение; как говорит Энгельс, «грабеж стал целью войны» («Происхождение семьи, частной собственности и государства», ГИЗ, 1920, стр. 57). Таким образом и характер этих войн объясняет основную функцию этих крепостей-поселений, заключавшуюся с одной стороны в защите от грабежа соседей, а с другой — в подготовке подобных набегов, плацдармом которых и являлись эти укрепленные поселения. Но, кроме того, в этих крепостях уже выделяется цитадель, которая становится местопребыванием выделившегося из населения господствующего класса, создающего условия своего дальнейшего усиления и обогащения не только в грабежах соседей, но и в эксплуатации подвластного населения. В этот период, поскольку основная доля награбленного уже поступает к господствующему классу, самый грабеж приобретает своеобразную форму эксплуатации.

Рассмотренные крепости-поселения первой группы, со всем комплексом относящихся к ним материалов, характеризуют, следовательно, общество, находящееся на стадии окончательного оформления классовых отношений, в зародыше носящее уже все предпосылки феодальных отношений.

Хотя мы крепости первой группы, на основании их связи с клинообразными текстами, относим к IX—VI вв. до н. э., все же они продолжают бытовать и после времени падения Ванского царства, из их среды начинают выделяться крепости второй группы, являющиеся более поздними не только хронологически, но также и социально-экономически, поскольку они содержат в себе черты городского поселения.



Хором. Крепость II. Кладка внешней стены.

[1] Утверждение авторов, что обследованные ими крепости относятся именно к классовому обществу, является спорным и подлежит дальнейшей проверке. Своего вывода авторы никаким конкретным материалом не подтверждают и не обосновывают. Отдельные явления разложения первобытно-коммунистического строя, на которые в самых общих чертах ссылаются авторы, не дают права говорить о классовом обществе. *Ред.*

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. ЛУНІН. На шляху до марксівської археології. Східний світ, 1930 г., № 4 — 5 (13 — 14), стр. 229 — 255.

Работа северо-кавказского краеведа Б. Лунина является показателем того, что вопросы овладения марксистско-ленинской методологией, вопросы критической переработки буржуазно-феодального наследства встали за последние годы не только перед археологами и музейными работниками Москвы и Ленинграда, но также и перед работниками мест. Именно потому, что работа Лунина является в известном смысле показательной, целесообразно разобрать ее на страницах «Сообщений».

Работа делится на три части: в первой разбирается вопрос о возможности существования марксистской археологии и о предмете ее; во второй дается критическая история археологического изучения Северного Кавказа до Октябрьской революции и, наконец, в третьей части дается обзор археологического изучения Северного Кавказа после Октябрьской революции, а также намечаются некоторые перспективы на будущее. В нашем разборе мы последовательно коснемся всех трех частей.

Читателя с первой же страницы поражает несколько раз на разные лады повторяемое совершенно неправильное утверждение: «Археологія у нас одна з тих наукових дисциплін, у змісті та методиці яких післяреволюційні часи зробили наибільші зміни встарелих підвалин та традицій». И дальше: «Відокремленість, нагромадження для нагромадження, випадковість у роботі, недбалість у практичних роботах, речошукання, — усе так швидко почало зникати, як це можливо лише за наших бурхливо динамічних днів». К сведению Лунина: археология один из самых отсталых участков советского научного фронта. Здесь дольше, чем где бы то ни было, удержались явно антимарксистские идеалистические и механистические «теории». Работы Лунина и его товарищей по Северному Кавказу не составляют в этом отношении исключения. Борьба с этими антимарксистскими «теориями» началась лишь в самое последнее время и идет совершенно недостаточными темпами. Смешно воображать, что все это археологическое наследство само собой «швидко почало зникати». Если оно где и исчезает, то лишь под жестокими ударами марксистско-ленинской критики.

С этой апологетикой старой археологии, которая якобы сразу же после Октябрьской революции перешла на новые пути, вполне гармонирует следующее утверждение Лунина: «Археологія має діло тільки з речовими памятниками минулого; влучно зауважено, що лише сама ця обставина нагадує, що археологія є наука, де самий матеріял вимагає матеріялістичного підходу. Але, звичайно, конча потреба вживати в археології діялектичної методи випливає з загального настановления справжньої наукової роботи, а не з самої особливости цієї дисципліни». Таким образом, дело обстоит, по Лунину, очень просто: старая археология сама по себе материалистична; стоит прибавить к этому диалектику, и все в порядке. Марксистская археология сконструирована! Вряд ли нужно здесь доказывать, что изучение материальных предметов не есть еще материализм, что в археологии с одинаковым успехом могут уживаться и уживаются и идеализм и вульгарный механицизм. Для всякого элементарно марксистски-грамотного человека это ясно.

Рядом с апологией русского археологического наследства стоит апология западноевропейской буржуазной археологии. Хотя Лунин делает по ее адресу несколько критических замечаний, он в то же время пишет: «..... наша археологія може запозичати в своїх західних «братів» чудову техніку и систематику праці....» Этим самым он отрывает технику и методику буржуазной науки от ее методологии, тогда как на самом деле их надо рассматривать в тесной связи; мы не можем принять методику буржуазной науки без коренной критической переработки ее. Иначе мы попадем ей в плен.[1]

Эти «ошибки» Лунина тесно увязаны между собой и вытекают из всей проводимой им «методологии», нашедшей свое наиболее яркое выражение в понимании им «марксистской археологии» и места ее в ряде других наук.

По Лунину, целевая установка археологии — изучение социально-экономических формаций «по памятникам материальной культуры». Что же понимает Лунин под «памятниками материальной культуры»? Сюда относятся и орудия труда, и одежда, и украшения, и предметы искусства, одним словом, все *вещи* данного общества (иначе — все материалы, находимые при археологических раскопках).

Но если археология занимается изучением общественно-экономических формаций, то каково ее взаимоотношение с историей? Лунин подчеркивает, что археология есть часть истории, что она должна заниматься изучением истории человеческого общества; из всего изложения Лунина ясно, что он считает археологию той же историей, но познаваемой из других источников. Свою сконструированную таким образом «марксистскую археологию» Лунин пытается подкрепить цитатами из Маркса и Энгельса, умышленно забывая, что основоположники марксизма говорят всюду об орудиях труда, а не о вещах.

К сведению Лунина: науки делятся не по характеру источников, над которыми они работают, а по характеру изучаемых закономерностей. Объединение в одну кучу орудий труда вместе с надстроечными явлениями только потому, что все это вещи, характерно для буржуазного культуроведения, для буржуазной археологии. Буржуазная наука не может понять закономерности развития общества и фетишистски подменяет развитие общества «развитием» вещей, причем в одну кучу, в один «комплекс» валятся и техника и надстроечные явления. Вещи подменяют собою людей. А между тем ясно, что развитие орудий труда идет по совершенно иным закономерностям, нежели хотя бы развитие украшений. Валить все это в одну кучу, конструировать для всего этого одну особую науку значит смешивать базис с надстройкой и ничего не понимать в марксизме. Хотя Лунин несколько раз оговаривается, что на основании вещей он хочет изучить общество, но фактически, объединяя вместе все вещи и конструируя какое-то «марксистское вещеведение», он выступает проводником буржуазного фетишизма.

Буржуазный фетишизм Лунина ясно характеризуется его терминологией. Чего стоит, например, такая фраза: «На тлі історії Боспорського царства вельми рельефно можна було б зъясувати цікаві процеси дифузії окремих «варварських» культур, їхні інтерференці, рефракції, а інколи и поляризації». Развитие общества Лунин подменяет «интерференцией и рефракцией культур», идущей по законам физики.

Каков смысл концепции Лунина? Это попытка взять старую буржуазно-дворянскую археологию в том виде, в каком она есть, слегка причесать ее на марксистский лад, прибавить несколько раз термин «об-

■

В нашей рецензии нам приходится говорить множество давно всем известных азбучных истин. Но что же поделаешь, если у нас до сих пор печатаются такие работы, как работа Лунина.

щественно-экономическая формация» и протащить эту старую археологию под видом марксистской в нашу советскую науку. Надо дать жесточайший отпор этой попытке контрабанды буржуазно-дворянского хлама.

Лунин не оригинален и не одинок в своих «концепциях».

Таковы, напр., совершенно аналогичные по характеру и сущности попытки А. С. Башкирова, К. Э. Гриневича и др.

К этим попыткам своеобразной мимикрии примыкают ошибки некоторых московских и ленинградских товарищей, поскольку ошибки эти объективно прикрывают остатки буржуазной археологии. Конкретно я имею в виду ошибки в работах московских товарищей Арциховского, Киселева и Смирнова и ленинградского работника Гос. Акад. ист. мат. культуры тов. Равдоникаса. Правда, между этими двумя рядами работ существует различие, которое нельзя не учитывать. У московских товарищей и особенно у тов. Равдоникаса налицо значительная марксистская эрудиция. Этого нет у работников типа Лунина. Лунин марксистски безграмотен. Он, например, несколько раз пишет, что археология есть часть истории, в основе же истории лежит, мол, указание Маркса о том, что история человеческого общества есть постоянная борьба классов. Примечание Энгельса к этому месту «Коммунистического манифеста», видимо, неизвестно Лунину. Существование первобытно-коммунистического общества таким образом ему тоже неизвестно. Тем самым Лунин целиком смыкается с буржуазными модернизаторами, объявляющими существование классов извечным. На марксистскую безграмотность Лунина указывает и то, что он цитирует как марксистское определение производительных сил, даваемое Масловым.

Надо, однако, помнить, что методологические ошибки названных выше московских товарищей и тов. Равдоникаса ослабляют ту борьбу, которую они ведут с буржуазной археологией, и по этой причине они остаются у той черты, за которой начинается реформистское отношение к буржуазной науке, т. е. объективное охранение ее остатков.

Вольные и невольные попытки причесать старую археологию на марксистский лад, имеющие место примерно одновременно в разных концах нашего Союза, — явление далеко не случайное. Они выражают стремление известной части старых (не по летам, а по методологии) научных работников, в условиях развернутого социалистического наступления на всех фронтах, заменить действительную коренную перестройку всей своей научной работы внешней марксистской образной перестройкой, перестройкой по форме, но не по существу. Вторая часть работы Лунина посвящена разбору археологического изучения Северного Кавказа до Октябрьской революции. Содержащаяся здесь критика работы дворянских кладоискателей Самоквасова и Веселовского далеко не достаточна. Критикуя их раскопки, Лунин даже не пытается вскрыть классовую сущность их методики и методологии. Критика ограничивается в основном цитатами из Ростовцева и Городцова и, таким образом, ведется не с марксистско-ленинских позиций, а с точки зрения буржуазной археологии. Лунину должно быть известно, что буржуазная наука подвергает резкой критике науку феодальную, однако она от этого не смыкается с марксизмом. Лунин критикует кладоискательство и призывает к раскопкам городищ. Но ведь и передовые буржуазные археологи (мы имеем в виду главным образом западноевропейских) также борются с кладоискательством: работы буржуазных археологов дают образцы очень тщательных раскопок мест поселений, однако по своей буржуазной методологии они для нас неприемлемы. Дело не столько в объектах изучения (хотя это тоже играет известную роль), сколько в методологии изучения.

Несколько строк Лунин посвящает критике Ростовцева. Но критика эта у него выходит совершенно неубедительна и ограничивается лишь туманным указанием на то, что Ростовцев не поднялся над «культурно-историческим» уровнем.

Таким образом, критика дворянской археологии ведется Луниным с позиций буржуазной науки.

Третья часть работы посвящена обзору археологического изучения Северного Кавказа после Октябрьской революции. Как и в первой части, читателя здесь поражает совершенно неверное, прикрашенное изображение положения с археологическими работами на Северном Кавказе: «Значні зміні маємо в методиці й засобах робіт. Колишний аматорський підхід досить швидко віддав місце серйозному і наперед обговоренному підходу до того матеріялу, що вивчається і до окремих та загальних питань...» И т. д. в том же духе. Приходится снова повторять то, что мы говорили в начале, но уже по отношению к Северному Кавказу. Мы не имеем возможности давать здесь разбор работ северо-кавказских археологов, перечисляемых Луниным, отметим лишь, что на основании их работ, в частности на основании работ самого Лунина, ни о каком переломе говорить нельзя. Это в основном повторение старых буржуазно-дворянских задов. Чего стоит, например, такое заглавие недавней статьи Лунина: «Об изучении менгирообразных сооружений Кавказа как одного из источников к характеристике его культурно-этнической эмбриологии» (содержание статьи гармонирует с заглавием). Правда, сам же Лунин, видимо, несколько сконфузившись своих саморасхваливаний, пытается в дальнейшем дать некоторое подобие самокритики и отмечает, что северо-кавказские археологи еще не совсем повернулись на новые рельсы. Однако эта самокритика ограничивается фразами «вообще»; конкретных примеров работников, не ставших еще на новый путь, Лунин не приводит (за исключением одного Ермоленко, обвиняемого в кладоискательстве). Таким образом, эта «самокритика», не будучи конкретной, теряет всякий смысл и сводится не к разоблачению, а к замазыванию чужих и собственных ошибок.

Трудно что-либо сказать о перспективах археологических работ на Северном Кавказе, которые намечаются Луниным. Поскольку он совершенно неправильно конструирует свою «марксистскую археологию», постольку и задачи ее им мыслятся совершенно неправильно. Открещиваясь от вещеведения, он настаивает на изучении вещей как источников для обобщения и тем самым подменяет своей «марксистской археологией» историю, историю религий и ряд других наук.

Итак, подводя итоги, можно резюмировать, что Лунин в своей работе пытается протащить под видом «марксистской археологии» старое буржуазно-дворянское вещеведение, фетишистское изучение вещей лишь потому, что они вещи. Призывая к обобщениям, он хочет подменить своей марксистской археологией другие науки, в частности историю. Попытка эта, как и другие аналогичные, должна получить жестокий отпор.

Ни о какой марксистской археологии, ни о какой марксистской науке о вещах говорить нельзя. Археология может существовать лишь как вспомогательная дисциплина подобно нумизматике, палеографии и т. д. Можно говорить как о науках об истории, об истории техники, об истории искусства и т. д., но нельзя говорить о «марксистской археологии».

П. И. Борисковский.

С. А. Семенов-Зусер, Отчет о раскопках в Ольвии в 1920 — 21 гг., Известия ГАИМК, т. X, в. 5, 21 стр.

Не являясь специалистом-античником, я, к сожалению, не могу дать всесторонний разбор работы С. А. Семенова-Зусера и в настоящей заметке ограничусь лишь рассмотрением употребленных автором приемов полевых исследований. Делается это не с целью дать критику ради критики, а вызывается необходимостью отметить ряд поучительных недостатков и ошибок, часто повторяющихся в полевых работах до настоящего времени. Дело исследования городищ и поселений хотя и насчитывает несколько десятилетий, все же еще не настолько хорошо поставлено, чтобы напоминание о возможных ошибках было излишним.

Попытка дать оценку работе, проделанной и написанной 10 лет тому назад, может показаться странной и излишней: быть может, автор давно отошел от тех приемов, которыми пользовался в 1920 — 21 гг., и в настоящее время сам относится к ним критически. Но тот факт, что разбираемая работа вышла в 1931 г. без соответствующей оговорки со стороны автора, позволяет думать, что и в настоящее время он своей работы критически не оценил.

Каждый исследователь, приступая к раскопкам, должен иметь определенную целеустановку, должен поставить перед собой ряд вопросов, разрешение которых можно получить в результате полевых работ. В противном случае будет иметь место бессистемность, граничащая с кладоискательством. Какова же установка была у исследователей Ольвии? «Необходимо было немедленно наладить дело раскопок, привлечь к работам парутинских крестьян и таким путем отвлечь кладоискателей от попыток дальнейшего разгрома памятников» (стр. 1). Дать работу кладоискателям — вот цель исследования. Безусловно, дело охраны памятников — дело первостепенной важности, но не нужно забывать, что любые раскопки, а тем более раскопки поспешные, связаны с разрушением памятника, а не его охраной. О возможности иных мероприятий говорит и С. А. Семенов-Зусер, упоминая работу Комитета по охране памятников старины в Николаеве. Но допустим, что только раскопкой можно было сохранить «последние остатки города», и посмотрим, как справилась комиссия с этим делом.

На стр. 4 отчета читаем: «До раскопок местность настолько была изрыта многочисленными ямами и шурфами нынешних кладоискателей, что при прокладке рельсового пути для вагонеток пришлось прибегнуть к помощи подпорок и мостиков. Ввиду этого определить поверхность площади и состав первого слоя, сделать точные обмеры и съемку оказалось делом не совсем легким и не всегда возможным». Из этой выдержки видно, что очень важное правило полевой техники — нивеллировка раскапываемого участка и тщательная его съемка — соблюдено не было. Таким образом можно отметить, что твердые опорные высотные точки в раскопе отсутствовали, а они были бы в данном случае особенно важны, так как сам автор пишет, что «поверхность не представляла ровной площади, а имела подъемы по направлению к З и Ю» (стр. 4). Нет высотных отметок и на прилагаемых плане и разрезах. Каким же образом исследователи замеряли глубину того или иного сооружения, тех или иных находок? Здесь они оказались весьма изобретательными. В отчете имеются три основных типа измерений.

1. Измерение от поверхности, напр.: «В 6 — 7 кв. на глубине 0,01 м от поверхности обнаружен был канал, проложенный в направлении с З на В» (стр. 4). «В 17 кв. открыта была мостовая из неровных плит плотного раковистого известняка... от поверхности земли 1,78 м» (стр. 7). «Мостовая тянется под западный раскоп и отстоит от поверхности на 3,36 м» (стр. 9). Во всех приведенных случаях измерения производятся от неизвестной величины, так как «местность настолько изрыта многочисленными ямами и шурфами» (стр. 4), что исследователи не могли ее пронивеллировать.

2) Измерения от вышележащего слоя. Напр.: «Прослойка золы отстоит от уровня поверхности второго слоя на 0,84 м» (стр. 7). «В шестом квадрате открыта полуразрушенная каменная кладка... на глубине 1,62 м от уровня первого слоя» (стр. 6). Здесь мы встречаемся с новой неизвестной величиной — уровнем слоя. Выяснить эту величину не представляется ни малейшей возможности, так как толщина слоев неодинакова на всем протяжении раскопа. О первом слое С. А. Семенов-Зусер пишет: «В 1-м квадрате толщина насыпи в нижней части равнялась 0,91 м, в... 11-м кв. 0,93 м и в крайнем 8-м квадрате, на южной стороне, уже 1,07 м» (стр. 4). «Толщина третьего слоя различна, от 1 м до 1,12 м» (стр. 7). О понятии слоя у автора см. ниже.

3. Измерения без обозначений. Напр.: «На глубине 0,09 м в 9 — 10 кв. обнаружена часть из неровных камней мостовой» (стр. 6). «На глубине 1,96 м в 3-м квадрате найдено дно пифоса» (стр. 6). «На глубине 3,04 м в 4 кв. близ южной стороны печи находился грубый сосуд» (стр. 10). И т. п. Для измерений этого типа комментарии излишни.

Уместно поставить один вопрос: каким образом, пользуясь подобными измерениями, можно свести отдельные разрозненные кладки в строительные комплексы и как приурочить к ним те или иные находки? Ответ ясен: сделать это невозможно, тем более, что бо́льшая часть сооружений и находок не снабжена и такими несовершенными промерами, а лишь отнесена автором к тому или иному слою. Понятие же слоя у С. А. Семенова-Зусера весьма не отчетливо. На стр. 4 читаем: «На месте городища было исследовано 6 слоев, относящихся к различным эпохам, начиная с IV — III вв. до н. э. и кончая поздним временем существования Ольвии».

Здесь как отличительный признак слоя выдвинут момент хронологический, но этот признак во всем отчете фигурирует всего лишь в вышеприведенной фразе: он лишь декларирован, а в действительности мы находим голый перечень находок без малейшей попытки их хронологизации. Остаются совершенно неясными те соображения, на основании которых С. А. Семенов-Зусер намечает в своем раскопе 6 слоев. Структурно, насколько можно судить по описанию автора, слои один от другого не отличаются. Так, «насыпь второго слоя заполнена битой посудой и оказалась влажной» (стр. 6). «В третьем слое земля оказалась влажной, черной, с золой, деревянным углем и со следами пожарища. В слое пожарища найдены человечьи кости и кости лошадей» (стр. 7). «Раскопки в четвертом слое дали следующие результаты: толщина слоя от 1,50 м до 1,65 м. Наибольшая толщина приходится на 10 кв. Земля черная, влажная» (стр. 9). К сожалению, нет даже такого скудного описания для пятого и шестого слоев, но, вероятно, и там земля «оказалась черной и влажной». Имея возможность более тщательно изучить структуру слоя, границы и форму залегания по стенкам раскопа, С. А. Семенов-Зусер этой возможностью не воспользовался, и стенки его раскопа напоминают скорей естественные обвалы культурного слоя, чем работу археологов (см. фот. 9, 11, 14).

Не получив ясного определения слоя, не удается выяснить и те соображения автора, в силу которых отдельные строительные комплексы отнесены к тому или иному из шести слоев. В отчете об этом не упоминается. Прилагаемые к работе план раскопа и разрезы также не дают никаких пояснений, тем более, что как первый, так и последний страдают массой неточностей, что делает их документами, абсолютно

лишенными ценности. План и разрезы вычерчены в различных масштабах, при переводе же одного масштаба в другой измерения на чертежах получаются различные. Насколько велико расхождение, читатель да и сам автор могут проверить, отмерив хотя бы расстояние между кладками *a* и *n* на плане и на нижнем разрезе. Расхождение будет равно нескольким метрам (около 4). По разрезам, лишенным высотных отметок, мы не в состоянии проверить правильность глубинных залеганий, отмеченных в отчете. Если даже сделать предположение, что пунктирная линия, помеченная на разрезах, является той «идеальной» поверхностью, от которой и производились измерения, то мы и здесь будем иметь ряд расхождений. Так, глубина залегания глинобитного пола печи (f) в отчете отмечена равной 2,55 м от поверхности (стр. 9), на разрезе будет равна около 2,25 м. Мостовая (*m*) в отчете отмечена на глубине 3,36 м (стр.9), на разрезе около 3 м и т. д. Обозначения на плане принадлежности той или иной кладки к определенному слою далеко не всегда соответствуют таким же обозначениям на разрезах; напр., кладка *e* на плане снабжена условными знаками первого слоя, на разрезе третьего, кладка n^1 третьего и второго, то же самое проделано с кладкой *a* и рядом других. На плане не отмечены линии, по которым вычерчены разрезы. При отсутствии чертежей в более крупном масштабе и более точных, невозможно представить себе вскрытые С. А. Семеновым-Зусером строительные комплексы. Те же чертежи отдельных сооружений, которые помещены в тексте, также имеют ряд существенных недостатков. В некоторых случаях — отсутствие масштаба, во всех случаях — отсутствие высотных отметок и увязки с пикетами раскопа (если таковые были). Неясно, каким образом все чертежи сделаны. Будучи ограничен небольшими размерами заметки, я не в состоянии дать оценку исследования во всех деталях и умышленно выпускаю разбор отдельных приемов вскрытия и фиксации всех строительных сооружений, да это, пожалуй, будет излишним, так как повторения о неправильных промерах, об отсутствии хорошего графического воспроизведения, тщательного описания найденного будет весьма однообразно. В качестве же примера остановлюсь на одном моменте: совершенно недопустимым способом была вскрыта каменная кладка (r^1) в виде «дорожки». «Для исследования направления «дорожки» и вместе с тем сохранения верхних остатков стен римского времени, открытых в 1914 г.» (стр. 15), исследователями была сделана «пробоина» в толще культурных слоев в виде тоннеля с арочным сводом (см. фот. 11). Такой способ исследования, быть может, и эффектен, но абсолютно лишен научности, так как та масса культурного слоя, которая была вынута из пробоины», не могла быть тщательно изучена, можно было повредить какой-либо комплекс, часть которого приходилась на месте пробоины, и, наконец, он не дает возможности изучить окружение кладки в данном месте. Кроме того, только счастливому случаю обязаны рабочие тем, что вышележащие культурные слои и кладки не обрушились и их не засыпали. Этот пример наиболее убедительно доказывает необходимость снятия культурных слоев на большой площади одновременно, исследуя комплексы со всем их окружением, что, как мною уже указывалось, С. А. Семеновым-Зусером неоднократно игнорировалось.

Тот метод поквадратной съемки, который был применен автором, не выдерживает серьезной критики. Разбив площадь раскопа на 35 квадратов, исследователи углубились на последних бессистемно, почти не стараясь установить связь между находками в различных квадратах, оставляя все вышележащие кладки, в результате чего сооружения, находящиеся ниже, не могли быть правильно изучены. Автор замечает: «по мере углубления по слоям приходилось строго держаться установленных начертаний квадратов» (стр. 4). Вследствие этого ряд сооружений, попавших в раскоп лишь частично или находящихся под оставленными кладками, так и остался не расследованным, например, печь *z* и др. Проводя в жизнь этот излишний геометризм, С. А. Семенов-Зусер в то же время не использовал пикеты, получившиеся при разбивке на квадраты, для производства более точных промеров. Было бы лучше отмечать расстояния не от неправильных стен раскопа, а от точек, отмеченных на плане. Такие же измерения, как, напр., «на расстоянии около 3 м от северного края IV раскопа» (стр. 18), не могут быть признаны точными.

Вопрос правильного сочетания приемов поквадратной съемки, дающей возможность тщательно фиксировать материал, с раскопкой по слоям очень сложен и может быть разрешен только при учете опыта различных экспедиций. Те приемы, которые были приняты при работах С. А. Семенова-Зусера, могут удовлетворить лишь требованиям формально-типологического метода. Но, признавая это, необходимо отметить, что и для последнего они являются далеко не идеальными. Буржуазная наука не отрицает тщательного изучения стратиграфии, не чужды ей и вопросы хронологии; напротив, там последние являются венцом исторического исследования.

Пренебрегая и тем и другим, автор отчета дает менее доброкачественный источник, чем даже достижения буржуазной археологии. В работе С. А. Семенова-Зусера так много неясностей и неточностей, что пользоваться ею при изучении Ольвии почти невозможно.

А. П. Круглов.

Новые идеи в антропологии

Загнивающий, умирающий капитализм сковывает развитие научно-исследовательской работы, находящейся в капиталистических странах в состоянии кризиса. Это кризисное состояние капиталистической науки, охватывающее все ее области, за последние годы еще усилилось в связи с мировым кризисом. В области четвертичной геологии и «палеоэтнологии» показателем этого кризиса явилась невозможность для большинства западноевропейских ученых приехать на конференцию по изучению четвертичных отложений, созывавшуюся в 1931 г. в Ленинграде (см. фельетон т. Заславского «Конец одного периода» в ЦО «Правде» от 13 августа 1931 г.).

Кризисное состояние науки в капиталистических странах — факт ясный, общеизвестный и, казалось бы, не дискуссионный. Однако в журнале «Природа» (№ 6 за 1931 г.) в отделе «Научные новости и заметки» помещена небольшая заметка Б. Н. Вишневского «В Институте палеонтологии человека». Оказывается, неправ т. Заславский, когда пишет: «научная работа на Западе замирает» (указанный номер ЦО). Совсем даже наоборот. Послушаем Вишневского: «Имеющий мировую известность Институт палеонтологии человека в Париже расширяет и углубляет программу своих работ... Институт устраивает ряд публичных лекций, бесплатных и доступных широкой аудитории... В целях привлечения молодых сил к изучению вопросов палеонтологии человека Институт учредил недавно ряд стипендий. Вопрос о кадрах по данной дисциплине стоит, повидимому, достаточно остро и (!) перед французской наукой». И далее идут восхваления в том же духе. Нет ни слова о том, *кому* служат эти работы института, *какие* цели преследуют эти бесплатные лекции (в числе профессоров на видном месте фигурирует аббат Брейль), на *кого* рассчитаны стипендии института... «И перед французской наукой» — великолепно. Выходит, что французская наука не отстает от советской и так же ставит вопрос о кадрах. Не напоминает ли это известный грабь-

план Чан-Кай-ши, сконструированный в подражание нашей пятилетке? Но Вишневский пишет это «и» совершенно серьезно. Ему, видимо, неизвестна разница постановки проблемы кадров у нас и в капиталистических странах.

Мы не думаем, что подобная, с позволения сказать, «информация» обманет кого-либо из советских читателей насчет истинного положения науки на Западе, однако вряд ли было целесообразно со стороны редакции «Природы» помещать «научные новости» такого рода.

П. И. Борисковский.

ХРОНИКА

Паспортизация памятников старины, искусства и революционного движения

Гигантский размах социалистического строительства и коренная ломка старых, изжитых форм быта, являющаяся ярким показателем развертывающейся культурной революции, ставят на новые основания вопрос об охране памятников прошлого. Организованные вскоре после Октябрьской революции государственные органы охраны памятников сумели охранить от разрушения и гибели колоссальное количество памятников культуры прошлого, несмотря на бури гражданской войны и интервенции. В ту пору некогда было спорить и рассуждать о большей или меньшей ценности отдельных памятников, и органы охраны исходили из мысли, что лучше охранить больше, чем нужно, чем что-нибудь не сохранить из того, что нужно.

Если для первых послереволюционных лет эта точка зрения, может быть, была и правильна, то уже немного позже она стала обнаруживать явную несостоятельность. В число охраняемых государством памятников попали такие, которые не имели на то никаких оснований. Колоссальное количество церквей, монастырей, дворцов, помещичьих усадеб, охранявшихся государством, не только требовали государственных средств на охрану и реставрацию, но нередко явно мешали развертыванию промышленного и культурного строительства в стране. Лучшим примером являлась Москва с ее бесчисленными охраняемыми церквами и монастырями, подчас не имевшими никакого историко-культурного или историко-художественного значения или же значение очень малое. Между тем сам город рос невероятными темпами. Он нуждался в площади для промышленного и коммунального строительства, он нуждался в рационализации планировки, он законно хотел превращаться из большого феодального «посада» в социалистический город.

И охраняемые беспринципно памятники стояли ему явно поперек дороги.

Именно в Москве в первую очередь и были под напором самой жизни поколеблены старые устои и принципы деятельности органов охраны. Но то, что началось в Москве, стало с переходом от восстановительного периода к реконструктивному обнаруживаться и в других городах. Страна небывалыми темпами меняла свой облик, выполняя задачу «догнать и перегнать» передовые капиталистические страны. Многие старые памятники явно стояли на пути переустройства городов и даже деревень. Некоторые приходилось использовать для хозяйственных и культурных особенностей, другие сносить, освобождая место.

Многие работники и учреждения, ведавшие вопросами охраны, ожесточенно боролись за каждый памятник, другие приходили в полную депрессию, считая вообще погибшим то дело, которое они вели несколько лет.

Но было совершенно ясно, что среди причин массового разрушения памятников (в число которых иногда стали попадать уже и те, которые не следовало разрушать) была и та беспринципная охрана всего без разбора, которой придерживались органы и лица, ведавшие охраной. Охраняя наряду с бесспорно заслуживающими того памятниками и такие, от охраны которых нужно было бы давно отказаться, органы охраны теряли доверие как в массах, так и в глазах хозяйственных и административных органов.

Становилась совершенно несомненной необходимость пересмотра самых принципов охраны и конкретного списка охраняемых памятников.

Если сравнить либерально-беспринципную программно-отчетную статью зав. Музейным отделом Н. И. Троцкой «Музейное строительство и революция», напечатанную в 1926 г. в журнале Главнауки «Наука и искусство»,[1] с тезисами доклада по охране внемузейных памятников, представленными инспектурой на I Музейном съезде в конце 1930 г.,[2] станет ясной полная перемена в принципиальных установках, произошедшая за это время.

Но новые принципиальные установки ставили новые требования и к списку охраняемых памятников. Если раньше в списки охраняемых памятников иногда попадали и такие, о которых органы, ведавшие охраной, почти ничего не знали, кроме самого названия памятника и его даты, то ныне включение того или иного памятника в число охраняемых требует прежде всего полной научной аргументации необходимости охраны данного памятника. Вот почему Сектор науки и приступил к проработке «паспортов» охраняемых памятников, которые должны всесторонне охарактеризовать данный памятник и доказать необходимость и целесообразность его охраны.

Работу эту выполняют Центральные государственные реставрационные мастерские и Гос. акад. ист. мат. культуры. Паспорт состоит из 21 пункта, которые всесторонне характеризуют как прошлое, так и современное состояние памятника и его историческое значение. Паспорт устанавливает: 1) первоначальное назначение памятника, использование бытовое, экономическое или стратегическое в течение его исторической жизни и, наконец, современное использование; 2) историю возникновения памятника (где и кем выполнен или сооружен); 3) дату; 4) материал и технологию; 5) автора или исполнителя; 6) заказчика; 7) местонахождение (первоначальное и в настоящее время); 8) исчерпывающее, хотя и краткое описание памятника; 9) чистоту подлинности и степень сохранности памятника и позднейшие изменения (переделки, записи); 10) техническое состояние памятника (разрушения, их причины, необходимость ремонта и реставрации).

Но особое, решающее для памятника значение имеют вопросы, характеризующие социологическую значимость данного памятника как показателя тех или иных социальных процессов, продуктом которых он является. Взгляд на памятник прежде всего как на

[1] № 1, стр. 29 — 53.

[2] Тезисы докладов к I Музейному съезду (1930 г.), стр. 42 — 59.

документ, наглядный показатель социальной динамики данного общества и учет возможности политико-просветительного использования памятника, вот что решительно будет отличать новый список от старого, построенного на фетишизации памятников прошлого ради их самих. Паспорт включает в себя документальный, изобразительный материал, характеризующий памятник (чертежи, копии, фотографии и пробы), библиографию и список документов, подтверждающих данные, занесенные в паспорт.

Наконец, паспорт указывает те формы и условия использования, которые допустимы по отношению к данному памятнику.

Паспортизация памятников позволит подвести прочную, методологически обоснованную базу под дело охраны памятников.

Паспортизация памятников дает возможность установить те объективные критерии отбора памятников, подлежащих охране, без которых эта охрана иногда превращается в беспринципную защиту прошлого ради него самого против растущего будущего. С другой стороны, новый список охраняемых памятников действительно и безусловно охранит те памятники прошлого, историческое значение которых будет всесторонне доказано. Охрана их будет обязанностью уже не отдельных лиц и учреждений, а всей советской общественности.

М. Каргер.

---

8 и 9 декабря 1931 г. состоялось заседание Планового археологического комитета при Секторе науки НКП РСФСР. В первом заседании был рассмотрен план экспедиционных исследований различных научных учреждений Сектора науки на 1932 г., а также был заслушан в порядке ознакомления комитета с материалами о подводном Херсонесе доклад К. Э. Гриневича. Решение по поводу работ К. Э. Гриневича отложено до получения комитетом исчерпывающих материалов. На следующем заседании состоялся доклад члена ГАИМК А. А. Миллера об увязке полевых археологических работ с пятилетним планом капитального строительства. Комитетом признано необходимым планомерное наблюдение за разрушающимися в процессе большого строительства памятниками с целью их научного изучения. Комитет признал необходимым выделить специальных консультантов по отдельным районам РСФСР.

Сектор археологии Гос. академии искусствознания в Москве в связи с реорганизацией ликвидирован. Вместо упраздненного Сектора археологии названной академии в Москве открывается отделение Гос. академии истории материальной культуры.

В статье К. В. Тревер «Находки из раскопок в Монголии» (Сообщения ГАИМК, 1931 г., № 9—10, стр. 40—47) имеется следующая опечатка, искажающая смысл: на стр. 44, строка 14 снизу следует читать не «501 г. до н. э.», а «50 г. до н. э.».

За II — IV кварталы 1931 г. в Секторе архаической формации Гаимк (см. Сообщения, 1931 г., № 6) проведено 12 заседаний с докладами сотрудников сектора. Одни из докладов были посвящены конкретным вопросам истории доклассового общества, другие касались общих проблем изучения архаической формации, являясь, таким образом, работами методологического характера.

А. М. Золотаревым был прочитан доклад на тему «Первобытный коммунизм», рассматривающий доклассовое общество как единую первобытно-коммунистическую формацию с коллективным производством и коллективной собственностью. По мнению докладчика, доклассовое общество можно разделить на два периода, различные по формам хозяйственной деятельности. Началом второго периода является момент оседания на базе перехода к земледелию и рыбной ловле. Несколько в другом плане был построен доклад А. Н. Бернштама и Е. Ю. Кричевского «Об основных закономерностях архаической формации», являющийся результатом проработки теоретического наследства Маркса, Энгельса и Ленина в части их высказываний о первобытном обществе. Основным противоречием, пронизывающим всю историю доклассового общества, является, по мнению докладчиков, противоречие между низкой техникой и коллективным производством, приведшее на новом этапе к индивидуализации производства, т. е. разложению основы первобытного коммунизма.[1]

К работам методологического порядка следует отнести доклад В. И. Равдоникаса «Сармато-готская проблема в связи с социально-экономическим развитием Северного Причерноморья», рисующий историю Причерноморья как единый диалектический процесс.

Доклады конкретного характера являются главным образом результатом работы групп и были посвящены разнообразным темам, отвечающим общей проблематике сектора. А. А. Аджан, Б. Б. Пиотровский и Л. Т. Гюзальян сделали доклад о результатах своей поездки в Армению в 1930 г. для исследования циклопических крепостей. Г. В. Григорьев прочел доклад «Теория акад. Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений», проработанный предварительно на группе земледелия (Сообщения ГАИМК, № 6). Обращает на себя внимание доклад Ф. И. Шмита «Эски-Кермен в свете раскопок 1928—1930 г.», где этот памятник рассматривается в тесной связи с историей Византии. Такая постановка вопроса встретила возражения со стороны ряда товарищей, в том числе В. И. Равдоникаса, показавшего, что Эски-Кермен есть город Крымской Готии, выросший как местный результат оформления феодальных отношений. Основной темой работы группы дородового общества Сектора архаической формации Гаимк являлась «Охота и ее значение как руководящей формы производства средне- и верхнепалеолитического общества». Из заслушанных сообщений, посвященных этой теме, следует отметить работу Г. А. Бонч-Осмоловского, построенную на материале крымских стоянок, П. П. Ефименко — по материалам ориньякско-солютрейских стоянок Дона и С. Н. Замятнина — по материалам кавказских местонахождений. В последней работе впервые были систематизированы материалы стоянок Закавказья. Аспирантом Гаимк П. И. Борисковским было сделано сообщение о переходе от солютрейского охотничьего хозяйства к мадленскому, где указывалась несостоятельность попыток объяснять этот переход путем миграции. Смену солютре мадленом следует рассматривать как скачок к качественно-отличной форме охотничьего хозяйства. Вопросы природной среды в ее отношении к охотничьему хозяйству были освещены в сообщении В. И. Громова «Промысловые животные верхнего палеолита».

А. М. Золотаревым было сделано сообщение на тему «Роль женского труда в охотничьем хозяйстве», построенное на основании этнографических материалов. Доклад т. Золотарева «Первобытный коммунизм», за-

---

[1] Это мнение является совершенно неправильным. См. предисловие редактора к работе А. М. Золотарева «Происхождение экзогамии», стр. 3 (Известия ГАИМК, т. X, вып. 2 — 4). Более подробное изложение вопроса о внутренних противоречиях в первобытно-коммунистическом обществе дается в специальной работе на эту тему В. И. Равдоникаса, помещаемой в одном из ближайших номеров «Сообщений».

читанный на заседаний сектора, также первоначально был заслушан группой дородового общества.

Из остальных тем, проработанных в группе, следует отметить сообщение Г. А. Бонч-Осмоловского, дающее новое истолкование вопроса о т. н. «наковаленках» мустьерских стоянок. Им же был затронут вопрос о культовых местах в верхнем палеолите. Сверх плана было заслушано сообщение Б. Л. Богаевского о значении изображения т. н. шамана из пещеры «Трех братьев».

Работа группы хозяйства эпохи бронзы Сектора архаической формации Гаимк протекала за период II—IV кварталов 1931 г. в нескольких направлениях. Большое внимание было уделено проблеме т. н. Трипольской культуры, над материалом которой работали Е. Ю. Кричевский и Б. Л. Богаевский. Два сообщения последнего были посвящены роли животных в хозяйстве Трипольской культуры.

А. А. Иессеном проводилась работа над изучением истории металлургии, оформленная в докладе «О центрах древней металлургии», где, помимо общих вопросов, был рассмотрен материал т. н. бронзового века Кавказа. В развитии металлургии на Кавказе были отмечены три стадии и наличие не менее трех районов производства. П. Я. Сальдау и А. Ф. Гущиной были доложены результаты химического и металлографического анализа северо-кавказских бронз. Тема работы А. В. Шмидта была посвящена северо-восточным районам Европы. Наряду с основными темами группа проводила изучение систем хозяйств современных обществ, отвечающих стадиально некоторым хозяйствам так наз. эпохи бронзы. Помимо сообщения А. В. Шмидта, зачитанного в I квартале прошлого года (см. Сообщения ГАИМК, № 6), посвященного хозяйству ирокезов, в этом плане были заслушаны работы Е. Ю. Кричевского, Г. В. Подгаецкого и А. П. Круглова.

Работа группы земледелия Сектора архаической формации сосредоточилась за истекший год вокруг одного стержневого вопроса — возникновение пашенного земледелия. К этому вопросу группа подошла с различных сторон, охватив изучением материалы различных районов Союза, причем разработка их велась как по линии исследования конкретных памятников, так и в плане более общих вопросов. За истекшие II, III и IV кварталы группа заслушала ряд сообщений своих сотрудников (о работе I квартала 1931 г. см. Сообщения ГАИМК, № 6).

М. И. Артамонов в сообщении «Ранние формы полевого пашенного земледелия в Приднепровье» отмечает неправильность доминирующей в литературе точки зрения, связывающей древние земледельческие культуры нашего юга с черноземом. Наоборот, развитие земледелия происходило на почвах речных долин, а освоение степного чернозема стало возможно лишь с введением железного плуга. Появление пашенных орудий, т. е. применение скота как тяговой силы в земледелии, соответствует моменту формирования сельской общины и последующей за этим феодализации.

К тем же выводам в отношении появления пашенных орудий приходит П. Н. Третьяков, проработавший по заданию группы тему «Подсечное земледелие в Восточной Европе». Подсечное земледелие, являющееся хозяйством «большой семьи», в своих основных формах не знает применения пашенных орудий. С введением последних подсечное земледелие удерживается лишь в приполярной полосе, где оно имеет значительные преимущества над полевым земледелием. Поновому был поставлен вопрос о происхождении пашущего орудия севера — сохи.

Проблема того же подсечного земледелия в ранних его формах ставится сообщением А. В. Шмидта, касающегося материалов Северной Америки. Подчеркивая несостоятельность отделения мотыжного земледелия от подсечного, А. В. Шмидт останавливается на вопросах разделения труда и роли женского труда в земледелии.

Г. П. Сосновским проработана тема, касающаяся древнего поливного земледелия в Енисейском крае, где имеются следы древних оросительных систем. Вопрос упирается в проблему оседания кочевников и тех социальных условий, в которых оно происходит. Этот момент следует рассматривать как период разложения рода и формирования сельской общины.

В сообщении «О земледелии в Пьяноборской культуре» М. Г. Худяковым ставится вопрос о возможности наличия там пашенных орудий, что расходится с мнением группы, считающей пашенные орудия элементом индивидуальной техники. Что же касается Пьяноборской культуры, то там следует усматривать коллективное подсечное земледелие с обработкой земли мотыгой.

Группа кочевого скотоводства Сектора архаической формации (см. Сообщения ГАИМК, № 6) добилась больших результатов в организации коллективности своей работы. Заслушав ряд сообщений своих сотрудников, группа нашла необходимым оформить свою работу в виде большой целостной монографии, для чего внутри группы была организована бригада из 4 сотрудников (В. В. Гольмстен, М. И. Артамонов, Г. П. Сосновский и М. П. Грязнов), разрабатывающая тему «Возникновение кочевого скотоводства». В результате детального повседневного планирования каждый участник бригады периодически получал определенное задание, окончательная проработка которого производилась путем совместного обсуждения бригады, после чего проделанная работа окончательно оформлялась.

Вопрос возникновения кочевого скотоводства, естественно, не мог быть оторван от проблемы возникновения скотоводства вообще, поэтому важной частью в работе бригады следует считать проработку темы «Приручение и одомашнение животных», к которой бригада подошла со стороны археологических, этнографических и письменных исторических материалов. Вопросы зоотехники также не выпали из поля зрения бригады. Далее изучением было охвачено пастушеское земледелие как форма, предшествующая кочевому хозяйству; возникновение последнего и его общая характеристика составили третью и четвертую часть работы бригады. При проработке названных тем в центре внимания бригады стояло использование и содержание животных в тех или иных условиях хозяйствования. Это заставило коснуться ряда смежных вопросов, как-то: средства передвижения, земледелие, охота и т. д. Работа в размере 15 печатных листов сдается в печать.

Из работ, проведенных в группе, следует отметить сообщение В. В. Гольмстен «Военное дело у кочевников». Группой составлена для краеведов «Программа по изучению кочевого скотоводства».

Скифская группа продолжала работы прошлого года по намеченному пятилетнему плану. Считаясь с уже наличными данными группировок материала по районам скифского расселения в Причерноморье, группа подошла к анализу его в целях выявления основных видов производства и форм общественного строя. Погребальный инвентарь установил родовую собственность при оформляющейся частной собственности выделяющегося родового вождя (т. н. «скифский царь»).

Анализ звериного сюжета, на котором главным образом остановилась группа, выявил земледельческую подоснову скифов-кочевников, устанавливая тем самым автохтонный процесс перехода на скотоводчество, внешне выразившийся в «оскифлении» населения. Тем самым решительно отпали обычные в буржуазной литературе поиски прародины скифов и их миграционных путей.

Тот же социальный строй с начавшейся имущественной дифференциацией в обществе, т. е. процесс разложения родового общества, параллельно прослеживался также и на памятниках Закавказья в их внешнем выявлении в так называемых «циклопических поселениях» с основною формою хозяйства в виде эйлажного скотоводства и арычного земледелия.

И тут и там устанавливаются родоплеменные союзы в процессе их разложения, следовательно начальный процесс племенных образований.

Прослежен семантический ряд средств передвижения (олень — лошадь) и культовое осмысление оленя в сцене солярного земледельческого сюжета борьбы оленя с грифоном, главным образом подтверждающего земледельческую подоснову скифа-кочевника с преимущественною ролью коня в хозяйстве кочевого скотоводства.

Разобраны изображения кабана в его охотничье-земледельческом содержании. К анализу привлекались фольклорный материал и данные этнографии.

Сектор феодальной формации Гаимк, имея своей задачей разработку вопросов истории материального производства эпохи феодализма, в настоящее время сосредоточил свою работу главным образом в области разработки историко-технических вопросов. Историко-экономические темы, методологически важные для понимания исторического процесса, ставятся сектором лишь как вспомогательные и как дающие руководящие установки в повседневной исследовательской работе групп над конкретным материалом. В ряду историко-экономических тем рассматривался вопрос об общественно-экономической структуре древневосточных обществ. Сектором была проведена дискуссия о так наз. азиатском способе производства. Одновременно кабинетом сектора была развернута выставка книжных и иллюстративных материалов по теме дискуссии. Дискуссия с основным докладом В. В. Струве прошла при активном участии ряда научных работников других секторов Гаимк и других научных учреждений Ленинграда. Ввиду того, что в ходе дискуссии выявился ряд неправильных установок у некоторых тт. по существу дискутировавшейся темы, было решено продолжить обсуждение темы, предложив сделать второй доклад т. Лурье.

Проводя свою работу под лозунгом решительной борьбы с буржуазными и псевдомарксистскими установками в области исторической науки, борьбы за марксистско-ленинскую методологию, сектор поставил и подверг критической проработке вопрос, имеющий большое актуальное значение: о буржуазной школе в востоковедении (доклад т. Якубовского «Феодализм в Средней Азии» и доклад т. Васильева о научном наследстве В. В. Бартольда). В прениях по докладу т. Якубовского рядом тт. (т. Калемин из ЛВИ, тт. Цвибак, Васильев и Богословский) были вскрыты в построениях т. Якубовского ошибки, усвоенные им от буржуазного востоковедения. Часть критических указаний была принята т. Якубовским в заключительном слове, прочие ошибки были им признаны в выступлении по докладу т. Васильева о трудах В. В. Бартольда. В своих выступлениях тт. Цвибак и Богословский показали, что «теория культурных влияний», «заимствований» представляет собою разновидность расовой теории.

В целях более углубленного изучения историко-экономических проблем советского Востока сектором образована Комиссия по изучению феодализма на советском Востоке, в составе работников ИВАН, ЛВИ и ГАИМК, ставящая своей задачей изучение феодализма и пережитков феодализма в Крыму, Средней Азии, Закавказье, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Группы сельского хозяйства и города и ремесла советского Востока, изучающие проблемы феодализма на советском Востоке в составе сектора, проводят постановку тем историко-экономического и общеметодологического характера в увязке с КИФСВ. В числе историко-технических тем, разрабатываемых группами, центральное место занимают вопросы сельского хозяйства в условиях ирригации (тема тт. Васильева, Изаксона и др.) и вопросы русской мануфактуры.

Работа т. Бакланова, доложенная в своем незаконченном (техническая часть) виде в одном из последних заседаний сектора («Тульские и каширские металлообрабатывающие заводы XVII в.»), представляет собой интересную попытку реконструкции процесса производства тульских и каширских заводов в форме чертежей и рисунков, на основании данных, опубликованных Археографической комиссией АН. Работа т. Бакланова, дорабатываемая в настоящее время ударной комсомольской бригадой (тт. Смирнов, Мавродин) с историко-экономической стороны, в своем законченном виде должна дать возможность совершенно заново подойти к вопросу о так наз. крепостной мануфактуре в России.

Наряду с этой работой группой ремесла и мануфактуры проводится изучение текстильной мануфактуры в России.

В части изучения русского феодализма группой сельского хозяйства в России проводится изучение докапиталистической ренты в России (тт. Греков, Мавродин, Смирнов). По окончании работы руководством сектора намечена организация плановой бригадной проработки (при участии других научных учреждений) материалов, разработанных группой, с последующей широкой дискуссией.

Летние командировки участников групп в Москву (тт. Смирнов и Греков) дали возможность использования в работе группы ряда новых материалов (монастырских приходо-расходных книг XVI — XVII вв.), дающих чрезвычайно ценные данные по вопросу о наемном труде во второй половине XVI в. Результаты работы группы этого года должны послужить основанием для постановки проблемы об экономике и технике феодальной России.

Из числа проблем, требующих дальнейшей проработки, нужно отметить поставленные в 1931 г. сектором, но еще далекие от разрешения проблемы возникновения феодализма, а также феодального ремесла.

Сектором заканчивается работа по собиранию материалов для терминологического словаря «терминов материального производства феодальной России», проводящаяся совместно с Археографической комиссией АН СССР.

Одновременно сектором проводится — при участии Комакадемии — работа по подготовке к изданию сборника высказываний Маркса, Энгельса и Ленина о феодальном обществе.

В Русском музее

В настоящее время в Этнографическом отделе Русского музея производится развертывание новой экспозиции Саяно-Алтайского отделения. Перед устроителями экспозиции была поставлена благодарная задача представить диалектику развития общества от эпохи первобытного коммунизма вплоть до текущего момента — социалистического строительства. Материалами для развертывания этой грандиозной картины должны были послужить результаты многолетних раскопок С. А. Теплоухова в Хакассии, а также ценные коллекции из монгольской экспедиции П. К. Козлова (Ноин-ула) и из алтайских раскопок экспедиции Русского музея 1928 г. (Пазырык).

Ответственное дело новой экспозиции было поручено С. А. Теплоухову, который считался специалистом-знатоком археологических материалов, но который ока-

зался ни в какой мере некомпетентным в вопросах марксистской музейной экспозиции. Он не сумел привлечь к новой экспозиции музейный актив и мобилизовать на ударную работу сотрудников музея. Вследствие организации труда «по старинке» экспозиция развертывалась вяло, и после шестимесячной работы конца ее еще не видно. В процессе развертывания план работы все время меняется, обнаруживаются различные недочеты и прорывы, которые требуют исправления и оттягивают сроки завершения экспозиции.

Новая выставка начинается демонстрацией археологических коллекций. В последовательном порядке идут палеолит, затем ряд отдельных «культур»: Афанасьевская, Андроновская, Карасакская, Минусинская курганная и т. д. В основании экспозиции лежит формально-сравнительный типологический метод, без какого бы то ни было намека на применение метода диалектического материализма. Далее развернута экспозиция Ноин-улы и Пазырыка. В соответствии с замыслами устроителей выставки, здесь даны такие формальные моменты, как «украшения», «похоронный обряд» и т. п. В центре зала, в витрине, красуется надпись: «Лошадь — основная производительная сила», которая красноречиво свидетельствует об уровне знаний ответственных руководителей экспозиции.

Фигурные бляхи звериного стиля трактуются исключительно лишь как «украшения», без учета их магического значения и тотемистического происхождения. В отделе «похоронный отряд» эти «украшения» даны в качестве простых образцов конской сбруи, без всякого намека на их семантику. Точно также знаменитые маски с конских голов даны сами по себе, без раскрытия тех представлений, средствами выражения которых они являются. Мертвая, формально-типологическая экспозиция, разумеется, не смогла оживить ни производительные силы, ни производственные отношения, ни представить диалектики развития общества с его надстроечными явлениями. Обширные материалы обесценены неумелым использованием.

Для феодального общества от первых столетий н. э. до начала русской колонизации (XVI в.) отведено ничтожное пространство, на котором развернуть экспозицию развития общества данной эпохи невозможно. Столь же неудачна попытка представить всю 300-летнюю историю царизма одним маленьким щитом, где покорение Сибири иллюстрируется... регенсбургским посольством Василия III.

Такова экспозиция Саяно-Алтайского отдела, пока еще не законченная. Будем надеяться, что в процессе работы устроители ее еще успеют исправить некоторые наиболее вопиющие ошибки и недочеты. Однако уже теперь становится совершенно ясным, что ответственное дело новой экспозиции, претендующей, как видно из крикливых надписей, на марксизм, нельзя поручать «специалисту», который совершенно беспомощен в вопросах диалектического материализма и в самой структуре новой экспозиции протаскивает идеалистические установки.

Вопрос о руководстве экспозицией наобходимо Этнографическому отделу пересмотреть. Недопустимы кустарничество и явная безграмотность в экспозиции одного из крупнейших музеев СССР, особенно в Ленинграде, где имеется такой методологический центр, как ЛОКА, и такое специальное научное учреждение, как ГАИМК, ведущие борьбу за четкость в методологических установках в области своей специальности, где, наконец, имеются уже более совершенные опыты экспозиции в МАЭ и Эрмитаже.

Таманский музей

В течение работ Таманской экспедиции ГАИМК в 1931 г. за счет экспедиции в Таманский музей перевезены были надгробные плиты и архитектурные фрагменты как из Таманской станицы, так и из Фанагории; помимо этого из стен современной постройки в Тамани вынуты были три надгробия и помещены также в музей. Для музея в Тамани при обработке материалов сформированы будут особые показательные коллекции, характеризующие как Таманское, так и иные городища ближайшего района.

Охрана памятников на Таманском полуострове

По материалам разведочных работ Таманской экспедиции ГАИМК 1930—31 гг. видно, что многие из городищ и поселений, как и древние могильники на Таманском полуострове, находятся под угрозой порчи или полного разрушения отчасти в связи с развивающимся большим строительством, а отчасти в силу естественных причин, главным образом в связи с разрушением морем берегов, сложенных из рыхлых пород. В самом начале работ экспедиции получены были сведения о том, что городище Фанагории сильно разрушается в связи с строительством новых хлопководческих учреждений. Из состава экспедиции выделена была особая комиссия, которая освидетельствовала на месте состояние древнего поселения и установила, что в настояще время значительных разрушений не происходит, но что они вполне возможны в дальнейшем. Учитывая это обстоятельство и считая необходимым сохранение остатков древней Фанагории для систематических исследований ближайшего времени, особой комиссией с участием директора Керченского музея установлены были на месте границы древнего поселения, которыми желательно было бы определить заповедную площадь этого памятника старины. Аналогичная работа исполнена была второй комиссией с участием заведующего Таманским музеем и в отношении остатков Таманского городища.

Общественная работа Таманской экспедиции ГАИМК

В течение работ Таманской экспедиции ГАИМК в 1931 г. в Таманском городище на двух раскопах проведен был ряд экскурсий следующего состава: 1) школа колхозной молодежи, группы 6 и 7, 2) школа колхозной молодежи, группы 4 и 5, 3) школы I ступени №№ 1, 2 и 3, 4) экскурсия агрономов, 5) группа рабочих Керченского металлургического завода, 6) группа военнослужащих РККА из Керчи, 7) школа I ступени (старшая группа). Начальником экспедиции сделано было сообщение об археологических работах Таманской экспедиции (присутствовало около 350 человек) и на его же собеседовании в музее собралось до 100 человек местных жителей, преимущественно колхозников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Положение о производстве археологических обследований и раскопок.

I. Общие положения

1. Открытые листы на право производства археологических обследований и раскопок в пределах РСФСР выдаются Сектором науки Народного комиссариата просвещения РСФСР по заявкам научно-исследовательских учреждений и музеев на основании постановления Археологического комитета РСФСР, опирающегося в своих решениях на отчеты экспедиций и отзывы Государственной академии истории материальной культуры и других научно-исследовательских учреждений, а также иные имеющиеся в распоряжении Комитета материалы.

2. Открытые листы на производство археологических обследований и раскопок выдаются научно-исследовательским учреждениям и музеям на определенную территорию с возможно точным указанием видов подлежащих исследованию памятников.

3. При заявках о выдаче открытых листов научно-исследовательские учреждения и музеи должны поименовывать тех лиц, которым будут поручены исполнение запроектированной в заявке работы, причем в открытый лист обязательно вносится фамилия, имя и отчество начальника.

Примечание: В случае, если поручение на исполнение работы дается данному лицу в первый раз, то к заявке должны быть приложены отзывы научных и общественных организаций о его подготовленности к полевым археологическим исследованиям.

4. Заявки о выдаче открытых листов на археологические обследования и раскопки подаются в Сектор науки Народного комиссариата просвещения заблаговременно, но во всяком случае не позже 1-го декабря.

Примечание. Если памятник оказывается под угрозой непосредственной опасности, заявки могут подаваться во всякое время.

5. Срок действия открытого листа определяется по 31 декабря года выдачи.

6. Получившие в указанном в настоящей инструкции порядке открытые листы рассматриваются как лица, уполномоченные в пределах указанных листом срока и территории на охрану археологических памятников и их научное исследование.

7. О выдаче каждого открытого листа Сектор науки Народного комиссариата просвещения извещает соответствующие областные исполнительные комитеты и музейные подотделы областных отделов Народного образования.

8. Открытый лист перед началом работ должен быть завизирован в соответствующем районном исполнительном комитете или, в случае значительной удаленности последнего, в сельском совете.

9. Каждое лицо, получившее открытый лист, обязано представить не позднее 1 октября и во всяком случае не позже чем через месяц по возвращении экспедиции краткий предварительный отчет о проведенной работе и полученных результатах с приложением денежного отчета в Сектор науки Народного комиссариата просвещения и не позже 1 февраля следующего года полный научный отчет непосредственно в Государственную академию истории материальной культуры (Ленинград, ул. Халтурина, 5). Полученные отчеты Академия обязана рассмотреть и представить в Археологический комитет свое заключение по каждому отчету не позднее 1 мая.

Примечание. Отчетные материалы поступают в архив Академии для хранения и научного изучения на общих основаниях.

10. Непредставление в срок в Академию истории материальной культуры отчета или наличие отрицательного отзыва о произведенных работах лишает соответствующее лицо права на получение открытых листов в дальнейшем.

II. Археологические обследования

11. Задачей археологических обследований является изучение местности в археологическом отношении по заранее намеченным маршрутам или в пределах какой-либо ограниченной территории, а также собирание данных, подробно характеризующих все памятники старины, доступные наружному изучению.

12. Обследование памятников должно заключать в себе:

1) снятие плана (желательно топографического) данного памятника, с обозначением на этом плане произведенных обнажений, следов прежних раскопок, кладоискательских ям, естественных осыпей и всякого рода других подробностей, устанавливаемых при наружном осмотре памятника;

2) производство по возможности нивеллировки поверхности с обозначением на плане направления этой нивеллировки для получения соответствующего профиля;

3) производство полного описания памятника, устанавливающего а) название памятника, б) его географическое положение, в) топографию расположения, г) состояние поверхности (присутствие зарослей, деревьев и т. п.), д) форму, например, городищ, курганов, е) распространение находок, встреченных на поверхности (с обозначением на плане), ж) степень сохранности, з) историю сведений о памятнике, и) современное понимание памятника местным населением;

4) производство фотографической съемки или зарисовки в целях возможно более наглядной характеристики памятников в целом и деталях;

5) сбор на поверхности и в осыпях свободно лежащих предметов археологического характера.

13. При производстве археологических обследований для более полной характеристики остатков древних поселений допускаются частичные обнажения культурных отложений, причем такие обнажения должны производиться на местах осыпей или в иных, уже существующих местах повреждений культурных слоев; однако обнажения эти не должны способствовать дальнейшему разрушению почвы и, в частности, образованию оврагов. Обнаженные таким образом культурные отложения тщательно изучаются, фотографируются и зачерчиваются в масштабе не менее $^1/_{10}$. Такие разрезы наносятся на план поселения и связываются с основным профилем памятника, полученным на основании данных нивеллировки.

14. При производстве археологических обследований допускаются раскопки могил в тех случаях, когда они находятся под угрозой разрушения при производящихся строительных работах, осыпании, размывании берегов и т. п. В таких случаях исследователем исполняются все требования, связанные с производством раскопок.

15. Обследования, выражающиеся лишь в наружном осмотре памятника, производятся на основании удостоверений научно-исследовательских учреждений и музеев, с последующим извещением Государственной академии истории материальной культуры об исполненных работах.

16. По окончании работы обследователь должен: 1) Составить коллекционную опись добытых предметов по следующим рубрикам: а) №№ по порядку, б) название и краткое описание предметов, в) место и условия находки каждого предмета или групп предметов, 2) сдать на хранение под расписку всю со-

бранную коллекцию по упомянутой описи, также все письменные, графические и фотографические материалы обследования в оригиналах или копиях и отчет в одно из местных или центральных музейных научно-исследовательских учреждений. 3) Представить в Государственную академию истории материальной культуры отчет по произведенным обследованиям, который должен заключать в себе: а) дневник обследования с общими сведениями по маршруту (по дням), б) маршрутный план по карте (можно скалькированный) возможно крупного масштаба с обозначением маршрута обследования и местонахождения открытых памятников, в) материалы обследования каждого отдельного памятника, содержащие в свою очередь план памятника (желательно горизонтально) с нанесенными площадью распространения находок на поверхности, обнаженными участками, линией нивеллировки и пр.; в случае детальной разведки — вычерченные по данным инвеллировки профиля памятника, соответствующие обозначенным на плане линиям; описание памятника согласно настоящей инструкции; коллекционную опись найденных предметов с отметкой музея или научно-исследовательского учреждения о принятии материалов согласно этой описи на хранение.

17. Приведение в порядок всего материала обследования должно осуществляться с расчетом сдачи отчета в Государственную академию истории материальной культуры не позднее срока, указанного в § 9 настоящей инструкции.

III. Археологические раскопки

18. Археологические раскопки, производимые для детального изучения древних памятников и получения новых научных материалов, сопровождаются неизбежным разрушением отдельных частей всего комплекса (слоев городищ, курганных насыпей и пр.), вследствие чего при производстве раскопок остатков древних поселений или могил должны применяться возможно точные приемы изучения этих разрушаемых частей памятников.

19. Для производства археологических раскопок необходимо предварительное детальное изучение как самого памятника, так и окружающей местности, с составлением одного общего плана района (возможно применение мензульной или глазомерной съемки) и детального плана самого памятника (для городищ — инструментальная съемка), а также его профилей по характеризующим направлениям (нивеллировка мерным брусом с уровнем, нивеллиром или иным инструментом). На участках, трассированных для раскопок, необходимо произвести нивеллировку поверхности с высотными отметками не более чем через 3 м.

20. Производство раскопок городищ, имеющих остатки архитектурных сооружений, требующее специальных приемов исследования, должно производиться при непременном участии соответственно подготовленных специалистов.

21. Производя раскопки, исследователь должен изымать весь находимый материал, характеризующий прошлую человеческую деятельность на месте селения, а именно: кости животных, рыб (в фрагментах, поддающихся определению), остатки растений, обломки строительных материалов, изделия и их фрагменты и т. д. Скелеты человека берутся полностью. Полностью берется и массовый материал, как бы однороден он ни казался (керамика, кости и т. п.). Оставлять в земле по взятии образцов можно лишь архитектурные фрагменты. Взятый массовый материал можно оставить в местном музее или в особом складе на месте.

22. В процессе раскопок древних поселений производятся точные зарисовки слоев с сохранением их связи с высотными отметками пикетов нивеллировки. Слои должны быть охарактеризованы по их составу, сложению, структуре и цветности. Зарисовки слоев, сопровождаемые фотографическими снимками, должны на месте исполняться в масштабе не менее $^1/_{10}$. Для зарисовки погребений также следует принять масштаб не менее $^1/_{10}$. Фотографирование погребений обязательно.

23. Все находки при раскопках древних поселений должны точно отмечаться на соответствующих чертежах и зарисовках, также как и предметы, открываемые в могилах.

24. Каждый исследователь обязан оставлять нетронутой, в контрольных целях, кроме случаев неминуемой угрозы полного уничтожения памятника обвалом, строительством и т. п., некоторую часть площади памятника, а при однородности памятника в целом, по возможности, не менее четверти площади, содержащей культурный слой или занимаемой целостными погребениями, могильниками, курганами и т. п.

Примечание. Это положение не относится к одиночным курганам и индивидуальным памятникам архитектурно-археологического значения, раскопка которых, как и вообще всякого индивидуального памятника, должна быть исчерпывающей.

25. По окончании каждой раскопки, исследователь обязан принять все зависящие меры к охране открытого комплекса или отдельного памятника путем, например, найма сторожа или, если памятник окончательно раскопан и исследован, путем засыпки вскрытых площадей вынутою при раскопках землею. Засыпка должна делаться только после точного нанесения всей раскопанной поверхности на план.

26. При производстве раскопок должны вестись подробные дневники с описанием открываемых памятников во всей совокупности данных и сопровождением этого описания чертежами, рисунками и фотографическими снимками.

Примечание. Производственный дневник помимо этого ведется заведующим раскопками, с отметками об отдельных заданиях, исполненных работах, распределении рабочей силы и т. д.

27. Отчет о раскопках, наряду с теми данными, которые исследователь сочтет необходимым включить, должен заключать в себе нижеследующие обязательные сведения и материалы: 1) сведения о памятнике (его местоположение, наружное описание, по возможности, планы окружающей местности, историю его открытия, сведения о предыдущих раскопках или повреждениях его с отметкой, по возможности, куда поступил ранее найденный материал); 2) сведения об организации настоящих раскопок, источниках их материального обеспечения, участниках и их функциях, поставленных задачах исследования, а также сведения относительно общей, как первоначальной, так и дальнейшей планировки работ (по данным дневника раскопок); 3) сведения о методике и технике выполнения раскопок, формах научных записей в процессе работы, а также о размерах вскрытых площадей; 4) чертежный план раскопок; 5) общую характеристику стратиграфии и важнейших деталей памятника, например, типов его погребений; 6) перечисление и характеристику письменных, географических фотографических и других материалов, собранных и исполненных в процессе раскопок, с указанием, где таковые находятся в данный момент; 7) фотографические отпечатки важнейших снимков, сделанных в процессе раскопок, а также, по возможности, фотографии и иллюстрации важнейших и наиболее характерных по типам находок; 8) коллекционную опись всего добытого раскопками вещественного материала с распискою соответственного учреждения о принятии этого материала на хранение.

Заведующий Сектором науки Народного комиссариата просвещения РСФСР *Луппол.*

Ученый секретарь Археологического комитета РСФСР *Бессонов.*

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Во время моего отсутствия из Москвы тт. Арциховским, Киселевым и Смирновым был написан очерк под заглавием «Возникновение, развитие и уничтожение марксистской археологии». С текстом этого «очерка», посланного в редакцию «Сообщений ГАИМК», я познакомился только 25 января этого года. Так как когда-то, семь лет тому назад и в последующие годы, мы все, тт. Арциховский, Киселев, Смирнов и я, выступали вместе за «марксистскую археологию», то для того, чтобы не повторять сказанного моими товарищами по этим выступлениям, я заявляю, что полностью и целиком присоединяюсь ко всему сказанному ими в части самокритики, разумеется, приложимому и ко мне.

Но я обязан сделать к этому некоторые дополнения.

Давно выступая против идеалистических классификационных схем В. А. Городцова, я считал себя свободным от этого приема буржуазной методики. Действительность показала мне, что это — далеко не так. Отказавшись от сложных таблиц и бесконечной серии классификационных терминов даже как от приема описания, я тем не менее оставался целиком в плену вытекавших из этих же самых схем и терминов «вещеведческих» формалистических приемов исследования. Благодаря этому мною были допущены грубые ошибки и искажения.

Так, например, исходя из находок вдоль некоторых рек и вблизи от них специфических «типов» орудий, я сделал заключение о движении по этому пути на всем его протяжении вооруженных отрядов из тех областей, которым «эти типы свойственны» (а в других случаях — аналогичный вывод о «заимствовании» типов). В таком приеме, конечно, отразились старые «археологические типологические карты», вычерченные на основании классификационных схем В. А. Городцова, О. Монтелиуса и др. Мое неверное заключение усугублялось еще тем, что я придал этим отрядам современные племенные обозначения, недопустимые и часто политически вредные в приложении к первобытно-коммунистической формации. Так возникли расово-миграционные построения, против которых я сам выступал еще 10 лет тому назад в одном из ненапечатанных докладов.

В № 9 — 10 «Сообщений ГАИМК» тт. Кричевский и Равдоникас, правильно критикуя меня за такие «миграции», отнесли к ним, однако, и мою гипотезу о «заселении» Карелии. Вполне признавая, что мое утверждение о Волго-Окской области как об исходном пункте, а тем более о заселении Карелии «прафиннами» было в корне неправильным и вытекало из указанных мною выше ошибок, и оставляя в стороне вопрос о дате заселения, как в значительной мере дискуссионный, я должен тем не менее сказать, что покрытая некогда ледником, а затем морем Карелия могла быть заселена только сравнительно поздно (если правильны вычисления Де Геера) и напрасно искать в таком утверждении протаскивание миграционной теории.

По существу такой же ошибкой, вытекающей из неизжитого вещеведения и подчиненности материалу наблюдений без достаточной критической проверки его, был мой вывод о форме древнейших поселений в западной Карелии (см. «Поселение на р. Суне» в «Советской Карелии» за 1930 г.). Я не имел права обобщать единичного наблюдавшегося мною в раскопках факта расселения удаленными друг от друга домами, так как в данном месте, близ устья р. Суны. это вызывалось условиями местности: небольшими, разделенными скалами площадками по берегу реки. Уже летом 1931 г. раскопки в других местах на северо-западе СССР доказали мне неправильность таких преждевременных, требующих особенно тщательного критического отношения обобщений.

Совершенно справедливо была также отмечена критикой абсолютная недопустимость в одной из моих ранних аспирантских работ ряда выражений (впоследствии, впрочем, мною не повторявшихся), крайне преувеличивавших и модернизовавших некоторые явления в первобытно-коммунистическом обществе (см. «Восстановление общественно-экономических формаций в культурах неолитического типа» в «Трудах Секции теории и методологии РАНИОН», вышедших в 1928 г.) вроде «борьбы за рынки сбыта» вместо просто «усиления обмена» и т. п.

В заключение необходимо отметить еще не столько ошибку, сколько вину в том, что подобное заявление делается мною только теперь, хотя по ряду пунктов оно могло и должно было быть сделано много раньше.

А. Брюсов.

27. I. 1932 г.

Примечание Ввиду того, что в своем письме А. Брюсов обходит полным молчанием вопрос о своем подходе к интерпретации вещественных памятников в ряде своих работ с точки зрения расовой теории и об усвоении в этих случаях концепции буржуазной лингвистики, редакция считает заявление А. Брюсова недостаточным. Желание изжить систематически допускавшиеся в работах ошибки обязывает А. Брюсова дать развернутую критику ошибок этого рода, безусловно отграничивающих его от марксистского лагеря до полного и исчерпывающего анализа этих ошибок, *Ред.*

Тираж 2000 экз. 5¼ л.
Сдано в набор 27/II 32 г.; подписано к печати 26/IV 32 г.
Бумага: формат 82×111, листов 2⅝.
Типографских знаков корпуса в листе 124,8 тыс.
Заказ № 570
Ленгорлит № 42229

Ответственный редактор
С. Н. БЫКОВСКИЙ
Технический редактор
Г. Г. ГИЛЬО
Секретарь
В. А. МИХАНКОВА

Типография «Печатный Двор», Ленинград, Гатчинская 26.

ИЗВЕСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Том VI

Вып.	1.	Марр, Бретонская нацменовская речь в увязке языков Афревразии	распр.
Вып.	2.	Якубовский, Развалины Ургенча	1 р. — к.
Вып.	3.	Мещанинов, Кромлехи	— 60 к.
Вып.	4.	Зограф, Римские монеты в Ольвии	— 40 к.
Вып.	5.	Сидоров, О витье волокнистых веществ	— 40 к.
Вып.	6.	Марр, Язык и письмо (второе издание)	распр.
Вып.	7.	Мещанинов, Палеоэтнология и homo sapiens	распр.
Вып.	8—9.	Богаевский, Раковина в расписной керамике Китая, Крита и Триполья	1 р. 25 к.
Вып.	10.	Пиотровский, Семантический пучок в памятниках материальной культуры	— 50 к.

Том VII

Вып.	1.	Лурье, Обработка кожи в древнем Египте	— 50 к.
Вып.	2.	Фасмер, Завалишинский клад куфических монет	— 50 к.
Вып	3—4.	Равдоникас, За марксистскую историю материальной культуры	распр.
Вып.	5—6.	Мещанинов, К вопросу о стадиальности в языке и письме	распр.
Вып.	7—8.	Марр, К семантической палеонтологии языков не яфетических систем	распр.
Вып.	9.	Богаевский, Гончарные божества Минойского Крита	— 60 к.
Вып.	10.	Иващенко, Герзеульский клад монет	— 50 к.

Том VIII

Вып.	1.	Ольденбург, Постановка изучения изобразительных искусств и их техники в Индии	— 45 к.
Вып.	2—3.	Якубовский, К вопросу о происхождении ремесленной промышленности Сарая Берке	1 р. — к.
Вып.	4—7.	Магнус, Библиография по археологии за 1918 — 1928 г.г.	3 р. 50 к.
Вып.	8—10.	Быковский, Яфетический предок восточных славян — киммерийцы	распр.

Том IX

Вып.	1.	Семенов-Зусер, Родовая организация у скифов Геродота	— 75 к.
Вып.	2.	Равдоникас, К вопросу о социологической периодизации палеолита	распр.
Вып.	3.	Пиотровский, Древне-египетский термин 'металл'	— —
		Пиотровский, Древне-египетские амулеты в форме глаза	— —
		Матье, Статуя египетского писца	— —
Вып.	4.	Мещанинов, Пиры Азербайджана	— 40 к.
Вып.	5.	Репников, Жальники Новгородского края	— 75 к.
Вып.	6—7.	Бернштам, Жилище Крымского Предгорья	— 85 к.
Вып.	8—10.	Шмидт, Металлургия в мифе и религии древней Греции	1 р. 75 к.

Том X

Вып.	1.	Артамонов, Миниатюры Кенигсбергского списка летописи	— 70 к.
Вып.	2—4.	Золотарев, Происхождение экзогамии	2 р. —
Вып.	5.	Семенов-Зусер, Отчет о раскопках в Ольвии в 1920—21 г.	— 50 к.
Вып.	6—7.	Третьяков, Костромские курганы	— 90 к.
Вып.	8—9.	Аптекарь и Быковский, Современное положение на лингвистическом фронте и очередные задачи марксистов-языковедов	распр.
Вып.	10.	Григорьев, Архаические черты в керамике горных таджиков	— 30 к.

Том XI

Вып.	1.	Мещанинов, Верхний палеолит	— 60 к.
Вып.	2.	Колобова, Опыт палеонтологического анализа терминов власти	— —
Вып.	3—4.	Ефименко, Значение женщины в ориньякскую эпоху	1 р. 60 к.
Вып.	5—6.	Шмидт и Равдоникас, О развитии взглядов Маркса на первобытное общество	распр.
Вып.	7—9.	Технологический анализ материалов из раскопок курганов в Ноин-Ула. I. Ткани	— —
Вып.	10.	Малицкий, Древне-русские культы сельскохозяйственных святых и их отношение к культам византийским по памятникам искусства	— —

3 0112 115476100

Образовательная библиотека ГАИМК

№ 1
М. Г. ХУДЯКОВ
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЯФЕТИДОЛОГИИ
Ц. 50 к.

№ 2
С. Н. БЫКОВСКИЙ
МЕТОДИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ц. 2 р.

№ 3
Н. М. ТОКАРСКИЙ
НАЗЕМНАЯ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЯ
Ц. 1 р.

№ 4
МАРКС И ЭНГЕЛЬС ОБ АНТИЧНОСТИ
под ред. С. И. КОВАЛЕВА
(Печ.)

№ 5
Н. П. ТИХОНОВ
ФОТОГРАФИЯ В ПОЛЕВОЙ РАБОТЕ
(Печ.)

№ 6
А. А. МИЛЛЕР
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ
(Печ.)

ИЗДАНИЯ **ГАИМК** ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

в Ленинграде:

Магазин № 1 Книгоцентра — Проспект 25 Октября, 28
Магазин № 2 Книгоцентра — Улица 3 Июля, 16
Магазин № 6 Книгоцентра — Улица Плеханова, 8
Магазин № 17 Книгоцентра — Вас. остров, 7-я линия, 25

в Москве:

Магазин Марксистской книги — Моховая, 26

Почтовые заказы направлять по адресу:

Ленинград
Улица Халтурина, 5
Государственная Академия Истории Материальной Культуры